

НИКИТА ГИЛЯРОВ-  
ПЛАТОНОВ

**ИЗ ПЕРЕЖИТОГО.  
ТОМ 1**

Никита Гиляров-Платонов  
**Из пережитого. Том 1**

«Public Domain»

1886

## **Гиляров-Платонов Н. П.**

Из пережитого. Том 1 / Н. П. Гиляров-Платонов — «Public Domain», 1886

«Раз, когда я разрезвился более обыкновенного, сестры пожаловались на меня отцу, и он ответил коротко: „А вот я его отведу в семинарию“. Он называл духовное училище „семинарией“ по старой памяти: он учился еще тогда, когда наш город, хотя и уездный, был епархиальным. В нем был свой архиерей и своя полная семинария, от Инфимы до Богословского класса включительно. Тридцать лет прошло уже с тех пор, но у родителя моего так и осталось название „семинарии“ до конца жизни; а он прожил и еще с лишком двадцать лет...»

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| «Предисловие»                     | 5  |
| Глава I                           | 7  |
| Глава II                          | 12 |
| Глава III                         | 18 |
| Глава IV                          | 22 |
| Глава V                           | 26 |
| Глава VI                          | 31 |
| Глава VII                         | 36 |
| Глава VIII                        | 40 |
| Глава IX                          | 45 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 46 |

# Никита Гиляров-Платонов

## Из пережитого. Том 1

### «Предисловие»

Раз, когда я разрезвился более обыкновенного, сестры пожаловались на меня отцу, и он ответил коротко: «А вот я его отведу в семинарию». Он называл духовное училище «семинарией» по старой памяти: он учился еще тогда, когда наш город, хотя и уездный, был епархиальным. В нем был свой архиерей и своя полная семинария, от Инфимы до Богословского класса включительно. Тридцать лет прошло уже с тех пор, но у родителя моего так и осталось название «семинарии» до конца жизни; а он прожил и еще с лишком двадцать лет.

Трудно изобразить чувство, охватившее меня при словах отца: не то испуг, не то смущение. Особенно страшного ничего не предвиделось. Один из учителей, и именно тот самый, к которому на руки мне приходилось поступить с самого начала, был близкий человек, двоюродный брат; не так еще давно поступив на учительское место, он даже проживал временно у нас до приискания квартиры; раскладывал по вечерам ученические тетрадки чистописания и передавал сестрам при мне свои классные впечатления. Я не вслушивался; но мир отчасти, хотя заочно, мне был знаком. Тем не менее сердце оборвалось у меня. Это было чувство невесты, сговоренной за неизвестного в далекую сторону; мне жаль было воли, жаль разлуки с беззаботною жизнью; смутно предчувствовалась дисциплина, своенравию предвиделся конец. А я был нервный мальчик; любил делать назло, хотя не со зла; находил потеху в тех шалостях, которые пугали и тревожили сестер. Другого мира не было у меня; уже год как не стало матери; ее заменила из трех сестер старшая, разнившаяся со мной пятнадцатью годами. При отце я был тих или проводил время на дворе, в саду, на лужайке пред домом. Но лишь батюшка отлучался, шел дым коромыслом: сестры приходили в отчаяние, и в один из таких-то случаев принесли на меня жалобу, которая могла для меня окончиться даже чувствительнее, нежели обещанием отвести в семинарию: я попробовал бы плетки.

Итак, прощай воля!

Однако я должен познакомить читателя подробнее со всею обстановкой, среди которой вырос, и начать издалека. Плебейское происхождение не позволяет простираться мне вдаль на целые века; однако родословие все-таки не потеряно для меня по меньшей мере с половины прошлого столетия. Читатель должен знать моих дедов, должен представить себе этот мало или односторонне освещенный мир, далеко ушедший и теперь даже невероятный; видеть развивавшиеся в нем характеры, а у некоторых они были недюжинные. Один из умнейших людей России (П.В. Киреевский) говаривал, что Россия живет во многоярусном быте. Часть не дошла еще до XVIII столетия; а где-нибудь в Пинских лесах, отрезываемых от остального мира болотами на целые полгода, в каком-нибудь Мозырском уезде, где уже на нашей памяти запал раз исправник, наступлением лета разобщенный со своей резиденцией и даже исключенный из списков как умерший, – в этом глухом углу живо, пожалуй, XIII столетие. Подобные же границы столетий пролегают и в одной местности, но в разных слоях населения. В той же Москве большинство живет исходом XIX столетия, а бесспорно для других это столетие еще не начиналось. Понятия и быт друг другу незнакомые, хотя рядом живущие и даже сносящиеся между собой отчасти. Духовенство же есть вообще особенный мир; а семья, среди которой я вырос, была и среди особенных особенная: она жила в XVII веке, по крайней мере на переходе в XVIII. Консерватизм моего родителя был чрезвычайный: он жил вполне, как его отец, и с очень малым отличием от того, как жили дед и прадед. Мать и сестры были представительницами прогресса, порывались на нововведения: сестры

ходили уже в платьях, мать меняла сарафан на платье для торжественных случаев; но всякие нововведения прививались туго, тем более что мы, как Мозырский уезд, отделены были от мира. У нас почти не было знакомых; гостей не принимали и сами не бывали ни у кого. Дом наш был своего рода скитом, где царил угрюмый, вечно молчаливый патриарх, и при нем мы, подрастающая девичья молодость и полуробенек сын.

Сколько, однако, пришлось пережить и перевидеть затем! После тесной родительской хранины с лежанкой, палатами и светелкой; после этой невозмутимой тишины, где шел один день за другим, ничем не разнообразясь, кроме того, что сегодня скоромный, а завтра постный день, а вот скоро наступит храмовой праздник или «Светлый день»; после школы с ее секуциями, кулачными боями и насекомыми; после мира, в котором горячий, оживленный интерес возбуждали вопросы, как править службу, когда сойдутся Благовещенье, храмовой праздник и Великая пятница в один день; после умственной почвы, где на фоне Четых-Миней, легенд, бытовых песен улегались как-то и последняя книжка «Телеграфа», и латинская грамматика; после этого и из этого – участие в водовороте быстро текущей всемирной жизни, ученая и отчасти политическая арена, аудитории, кабинеты министров и дворцовые залы, знакомство с лицами, имевшими историческое значение для отечества; круги литературные и ученые; собственное, хотя и маловажное, участие в немаловажных событиях. После полувека оглядываешься назад и на прадедушку Болону, и на тетушку Марию Матвеевну, на эту семью, в которой чай был редкость, а кофе знаком был только по слухам, для которой городничий представлял грандиозную фигуру, а семинарист «первого разряда» почтенную величину: припомнишь мир, посеявший в тебе первые духовные зерна; задумаешься о всем ходе твоего развития: нет, мне кажется, это не должно пропасть нужно поделиться с другими.

## Глава I

### Родной город

Уездный город, бывший епархиальный, следовательно старинный, а потому, согласно этим двум качествам, со множеством церквей (до двух десятков счетов); река средняя, впадающая за три версты в большую. Но, впрочем, зачем же говорить обиняками? Это – Коломна. Крепость полуразвалившаяся, но с уцелевшей частью стен; уцелело также несколько башен и одни ворота с иконописью на них и с вечною лампадой. Как подобает старине, город потонул в легендах. В одной из башен содержалась Марина Мнишек: это исторический факт. В той же башне кроются несметные богатства: это легенда. В одной из церквей венчался Димитрий Донской и осталось его кресло. Это тоже история (сохранилось ли кресло донине, не имею сведения). А об одной башне в зимние вечера при горящей лучине (свечи у нас полагались почти только для гостей) тетушка Марья Матвеевна заводила речь, что башня эта, урольная, к Москве-реке, называется «Мотасовою», и вот почему: на ней сидел черт несколько сот лет и мотал ногами. Против нее, за рекой, на лугу, окруженный несколькими избами бывших монастырских крестьян, – Бобренов монастырь; на противоположной стороне, за три версты, на стрелке (между) Москвой-рекой и Окой, – монастырь Голутвин. Летит сатана из Бобренева; видит его с башни Мотас. «Откуда и куда, друг?» – «Да вот бобреновских монахов соблазнял. Там кончил, теперь к вам в город». – «Э, голубчик, – отвечал Мотас; – я тут уже четыреста лет от нечего делать мотаю ногами; здесь нас с тобой поучат грешить, ступай в Голутвин».

Самоосуждение свойственно не одной Коломне, а вообще русским городам, особенно древним, происхождение которых затеряно. Замечательна эта народная черта. Не хвалятся, чем даже основательно хвалиться; не помнят героев, забывают о своих исторических заслугах, а помнят Божиих святых людей и им противопоставляют себя как негодных и грешных; рассказывают, что город основан «на крови», взводят на своих предков небывалые преступления. Предания о начале городов полны такими сказаниями. Откуда Коломна названа Коломной? Не одна Марья Матвеевна, но начетчики-мыслители мещане (таковые есть), дьячки и тому подобный народ передавали мне, что преподобный Сергей проходил некогда через город и его прогнали «колом»; он тогда прошел в Голутвин. Историческое событие несомненно, что Сергей преподобный проходил через Коломну, и там, где теперь Голутвин, благословил Димитрия Донского; посох Сергея остался в Голутвине. Но Коломна по меньшей мере двумя, а то и всеми тремястами лет старше Донского; тем не менее коломенцы воспользовались историческим событием, чтобы сочинить самоуничжительную легенду.

Вслушивался я в такие рассказы ребенком, хотя даже тогда не придавал им веры. Верит ли народ? Не думаю: и для него это поэзия, которою он наслаждается и поучается, не останавливаясь на вопросе об исторической верности. В собственном личном развитии я подмечаю черту, заслуживающую упоминания именно по поводу сказки об имени города. Шести, семи лет я был, когда мне ее передавали, и меня тогда уже возмущала филологическая нелепица. Я также пропускал мимо ушей историческое событие, равнодушный к тому, проходил ли через Коломну преподобный Сергей и что с ним было; но мне претило согласиться, чтобы Коломна происходила от творительного падежа «колом»; даже о падежах мне было неизвестно, но словопроизводства признать не мог. После, когда был лет десяти, я прочел у Карамзина догадку, что название произошло от итальянской фамилии Колонна. Объяснение

точно так же показалось невероятным, и я доселе удивляюсь, как ученый с глубоким смыслом, каков был Карамзин, мог придумать такую несообразность<sup>1</sup>.

Подобно тому как в других старинных городах, рассказывали и в Коломне, что здесь то стояла церковь, но провалилась по случаю страшного преступления; что по ночам слышится звон из-под земли. Замечательно это эпическое повторение того же рассказа в разных городах, почти буквально тождественное. Рассказывали об архиерее святой жизни, который велел-де похоронить себя на паперти, чтобы «все его топтали». Может быть, даже было это подлинным событием, но оно рассказывалось эпически торжественным тоном, полунараспев, и я впитывал его в себя. Многие запомнил, но вообще легенд слышал множество и местного содержания, общего. Из последних некоторые, памятные мне по детству, напечатаны легкими видоизменениями в известном сборнике Афанасьева, к сожалению запрещенном. Запретили книгу, опасаясь соблазна. Но я спросил бы сберегателей народной веры: а кем и чем воспитывается народ хотя бы и в вере? Нужно удивляться, как еще сохранились в нем, хотя в полумифической оболочке, какие-нибудь ее искры. Священник, которого видит народ только при отправлении треб и как отправителя треб, менее других повинен в учительстве. Ему остается одна исповедь, но и в ней едва успеет он проронить несколько слов, при одновременном множестве исповедающихся. да и то если расположен идти далее механического отправления формальностей, указываемых Требником Отец, глава семьи, который вечно в работе и в заботах? Мать, бабушка – вот живые носительницы преданий, а легенды – кодекс христианской нравственности в поэтической оболочке Тот, кому средства позволяют читать легенды в печати, вне уже всякого сомнения обережен от соблазна, ибо настолько развит, что в состоянии отличить поэзию от истории. Между тем если снять с легенд оболочку, мы найдем в них такую высоту, такую глубину христианского воззрения, перед которой преклоняешься. Возьмем хотя легенду об Илье и Николе, столь по-видимому соблазнительную, или об юродивом, крестящемся на кабаке и бросающем камнями в храм. Опасаться глумлений может лишь тот, кто не слыхивал самолично легенд в детстве. А я слышал и опытом, своим и чужим, дознал впечатление, ими производимое, и суждения, ими вызываемые: их воспитательное действие несомненно.

Церковь, при которой отец мой был священником, стояла на берегу Москвы-реки или, как выражаются коломенцы, Москва-реки. Я говорю на «берегу», руководясь теперешними измерениями. Но в детстве какие-нибудь сажень семьдесят, восемьдесят, отделявшие церковь и наш дом от реки (дом был от церкви буквально в восьми шагах), казались значительным расстоянием; чтобы достигнуть воды, нужно было пробежать наш садик, затем городской огород – мало ли! И для взрослого уездного жителя, не бывавшего в столицах, городские расстояния представляются значительнее, нежели есть; горожанин еще более убеждается в этом своею медленною походкой: пространство размывается на время и им, между прочим, измеряется. Когда провинциал попадает в столицу, ему кажется, что здесь бегают, а не ходят. То же покажется петербуржцу с москвичом в Лондоне. Мне же, малолетку, тем более казались значительными пространства, на деле короткие. Независимо от всего возраст имеет свою меру, и притом даже не для пространства только, а и для времени. Время первоначально считается днями, потом месяцами; а перевалявшись за зрелый возраст, как ни богата жизнь событиями, остается внешняя память отдельных месяцев, пожалуй, и дней, когда что случилось; но последовательное течение событий перестает для сознания и чувства являться непрерывной вереницей: пусто, гладко и неразлично представляется все, не озаменованное чрезвычайностями; месяцы и даже годы сливаются.

---

<sup>1</sup> Теперь выводят, и кажется – основательно, Коломну от «коло», то есть в смысле окольного пограничного города. Это была действительно граница; далее, за Окой, начинались инородческие земли.

Итак, и церковь, и дом наш стояли на берегу. Близ них, почти рядом, измеряя по-столичному, высились еще три церкви; самая дальняя едва ли отстояла на сто сажен, а ближайшая едва ли даже на 50. И о церквях, именно этих, ходили тоже если не легенды, то прибаутки, основанные на колокольном звоне, характеристическом у каждой. Звон одной, у которой колокола были средней величины, тенористые, по своему умеренному размеру ударявшие в один край, медленно, переводился так: «Поп пья-ян, дьячок пья-ян». Густой звук другой колокольной отвечал: «И мы, и мы, и мы». И наконец, третьи мелким перебором звонцев прибавляла: «А мы видим, да не скажем»

Колокол для народа есть нечто не только священное, но живое; он рассуждает, гневается, упрямится, покорствуется. Целым роем мифов окружена его жизнь. Когда его льют, предание повелевает распустить какой-нибудь слух, чтобы «гул пошел в народе». То же водится и при литье пушек, – обычай, заимствованный уже от колоколов, которые во всяком случае старше пушек. Отлитый колокол ставят на дровни и везут. Хорошо, когда он окупил себя, церковь и приход богаты. Но не случалось ли вам видеть, как колокол ездит из города в город, из деревни в деревню с просьбами о подаяниях на свой выкуп? Красуется на дровнях или дрогах колокол, более или менее значительного объема, и на трех же дрогах на особой звоннице висит колокольчик, время от времени жалобно ударяющий: «Подайте, Христа ради, православные». На многолюдных улицах, на площадях, на базарах в особенности, дроги останавливаются, лошади отпрягаются, а колокольчик с расстановками продолжает бить свою мольбу. Русский человек снимает шапку, крестится и кладет в кружку по силе мочи.

Большой колокол нашей церкви был по уездному городу значителен, особенно в те годы, – 200 пудов. Приобретение его сопровождалось обстоятельствами, заслуживающими упоминания. В начале минувшего столетия господином города был именитый гражданин Иван Тимофеевич Мещанинов. Никто не смел мимо его дома проходить в шапке, а тем более обязательны были знаки почтения при личной встрече. Да чего! сами воеводы пред ним раболепствовали. Я застал еще в живых одного древнего желтовласого старца (фамилия ему была, помнится, Лохонин); а он застал в живых «коломенского бога», как называли Мещанинова. Лохонин был еще мальчиком: «По безрассудству своему – молод я еще был (так рассказывал он) – не догадался я снять шапку в начале улицы, когда Иван Тимофеевич на ней показался. Ну досталось мне; отодрать-таки отодрали, да и велел он меня в солдаты отдать. Я бежал, и только бегами спасся». А Иван Тимофеевич был все-таки не более как купец! Таковы были нравы в первой половине прошлого столетия; по расчету лет Лохонина, полагаю, что происшествие случилось в тридцатых годах, потому что старику не было, кажется, полных ста лет.

«Коломенский бог» был прихожанином нашей церкви; она считалась почти домовою Мещаниновых даже и в начале нынешнего столетия. Решил Иван Тимофеевич слить колокол в свою церковь, и не маленький, в тысячу пудов. Едет к архиерею и просит благословения.

Как, Иван Тимофеевич, в приходскую-то церковь да в тысячу пудов? Это не полагается, не по закону. В приходской церкви позволены колокола только в сотни пудов. У нас и в соборе нету такого.

– Да колокол уж отлит, преосвященнейший владыко.

– Нет, как хочешь, никак этого нельзя. Лучше закажи ты для Никиты Мученика другой, а этот отдай нам в собор.

Так и поступлено. Колокол в тысячу пудов повешен на соборную колокольню и гудит на ней доселе; к Никите же Мученику доставлен новый; в 200 пудов, с надписью: «Лета от Рождества Христова 1702» и проч.

Но поднять тысячепудовой колокол на колокольню и даже подвезти его удалось не легко. Колокол заупрямился. «Везли его, – так рассказывали старожилы, – на дровнях, как

полагается; народ со всего города и деревень тащит. Шел хорошо; но подвезли к Пятницким (крепостным) воротам, – остановился. И так и этак, народу прибавили, канаты лишние подвязали: нет, прогнувался, значит, не туда везут. Мастер сел на него с плеткой, как водится. Хлестнет; словно и тронется, а нет. Молебен с водосвятием служили; кое-как потом уж одолели; только вместе с мастером так и подымали на колокольню, и мастер все время, как поднимали, – нет, нет и подстегнет».

Такова местность, среди которой будут совершаться происшествия, описываемые в начале настоящих «Записок». Добавлю, что, за исключением церкви пред глазами, лужайки шагов в тридцать длины и ширины и за ней дома каменного, которого только нижний этаж был отделан, а верхние окна забиты досками, я до семи лет не видал ничего или почти ничего. Весь мой горизонт ограничивался этим убогим простором. Меня никуда не брали, никуда не водили. Повернуть за угол забора, ограничивавшего лужайку справа (налево была церковная ограда), и пройти на улицу шагов за сорок, это бывало уже событием. Вне своего дома, едва-едва я помню до школы, как меня при похоронах матери возили куда-то (то есть на кладбище) и как я спрашивал Максими́ча, мещаниновского кучера: куда маменьку везут? – и он мне постарался ответить что-то утешительное. Помню еще, как сквозь сон, что Андреич, пономарь, упросил раз моего отца отпустить меня с ним на «иллюминацию»; как вывел он меня за город (а мы и жили-то на конце города), как Андреич брал меня иногда на руки. Идти было очень трудно; под ноги то и дело попадались рога, на которые я спотыкался (вблизи были бойни). Много народу; ночь; слышалось пуканье (ракет) и виднелся щит, горевший огнями. Очевидно, происходило это 22 августа; но в каком году и сколько мне было лет, из памяти исчезло.

Еще темнее следующее воспоминание. Зима; отец едет в Черкизово (село верст 10 от города). Помню, то была помолвка двоюродного брата; как меня везли, в чем я провел несколько часов на «чужбине», все это вылетело, и в памяти осталось лишь, что и руки и ноги у меня окоченели. Я попросился на печку, но мне возразили, что тогда у меня руки и ноги отвалятся, и подали холодной воды, куда я должен был опустить руки. Это меня поразило кажущейся несообразностью и врзалось.

Помню и еще... но это уже было из домашней жизни, о которой после. Таков, однако, был мой небогатый опыт, такова ограниченность кругозора до самой школы, до семи лет. Теперь, как вспоминаю, поражает меня тогдашняя моя неразвитость. Из окон виден был у нас другой берег реки, на нем луг, а за лугом лес, среди которого пять больших деревьев выдавались из прочих. Сиживал я у окна, вперял взор и спрашивал: что же, однако, там, и далеко ли отсюда это место, где голубое небо садится на землю? Задавал я эти вопросы другим. Что мне отвечали – не помню, но, должно быть, что-нибудь чересчур применительное к моему возрасту, уклончивое, без объяснения сущности, потому что долго так и оставалось у меня мнение, что там, за лесом, и конец света.

Удивительно! Удивительно потому, что я был мальчик смышленный, а к тому времени умел даже читать, но умственная жизнь по-видимому не начиналась, потому что так мало осталось в памяти из этого периода. Между прочим, поразительно: как, будучи уже шести лет, зная уже грамоте, я, оказывается, не знал даже, что такое смерть, когда спрашивал Максими́ча о матери; как не постигал противоречия, что не может же кончиться свет сейчас за лесом, когда я знал, что есть на свете Москва, и слышал, что Москва от Коломны во ста верстах и что лежит она приблизительно в той же стороне, где сходится небо с землей. И в то же время чуял нелепость словопроизводства Коломны от «колом»! Этот замкнутый мирок, эта нелюдимость семьи, этот ограниченный круг, в котором вращались слышимые разговоры, именно это не было ли причиной, что при смышленности и возбужденной, по-видимому, мысли ум дремал? В школьном периоде испытывалось потом многое, подобным же образом странное. Я признал бы невероятным, когда бы это случилось не со мной.

Кончу описание родного города общею его наружностью, хотя ранее семи лет она для меня не существовала. Улицы в нем прямые и в большинстве мощеные, даже в тогдашнее время. Много домов каменных, почти большинство. Опять факт психологический: прямизна улиц стала мне известна, только уже когда мне было тринадцать лет, по приезде в Москву. В случайном разговоре услышал я замечание о кривизне улиц московских и задал себе мысленный вопрос: «А какие улицы у нас?» Представляя улицы ясно, тем не менее я затруднился решить вопрос заочно: какие они в самом деле, прямые или кривые? Только уже приехав снова на родину, убедился, что город распланирован правильно. А между тем об этой планировке я слышал еще ранее, и притом неоднократно, с рассказом об обстоятельстве, которым она была вызвана и которым потом сопровождалась. Был пожар; за исключением нашего околотка, весь город был истреблен. Это случилось в восьмидесятых годах, ибо отец был еще мальчиком; вместе со старшим своим братом, на крыше дома, он метлой отмахивал падавшие головни. Ветер дул в нашу сторону; опасность была неминуема. «Тогда, – рассказывали мне, – к покойному батюшке (моему деду) пристали, чтоб он поднял иконы». Он исполнил, обошел околоток; околоток, который был обойден, уцелел. Мне перечисляли уцелевшие дома, с заключением, что «батюшка Никита Мученик заступился». Околоток уцелел, а город, и в том числе наш околоток, все-таки получил новый план, по которому церковь, выходящая на улицу, была отброшена от нее. Новую улицу пересекал по новому плану переулочек, который должен был от берега пройти насквозь до выгонного поля. На пути ему представлялись ворота и за ними сад Мещаниновых, тех самых, которых предок, Иван Тимофеевич, был «коломенским богом». Коломенский бог был уже в могиле, а здоровствовал его племянник, Иван Демидович. Видя беду, что двор и земля его разрежутся переулочком, он отправился в Москву с опортовыми яблоками своего сада. Кто правил тогда Москвой, – не знаю, но подарок был принят. «Да, сад с такими прекрасными фруктами губить жалко», – произнес правитель. Сад был пощажён, и переулочек остановился пред воротами мещаниновского дома.

## Глава II

### Предки

Я упоминал о селе Черкизове. Это было второе родное гнездо, не мое, но нашего рода. Длинный ряд княжеских каменных домов, почти на версту в длину, разнообразной, но замечательно изящной архитектуры, и притом расположенных со щепетильной симметрией, а впереди их три церкви, две по бокам и одна в середине, пред главным княжеским домом. Таков был вид Черкизова с Москвы-реки, на которой оно расположено. В стороне от княжеской усадьбы, тоже по берегу, рассыпаны крестьянские избы, в несколько слобод, то есть улиц, все смотревшие зажиточно. Этот вид Черкизово сохранило до освобождения крестьян, после чего последний из князей (Черкасских), владевших этим родовым именем, продал его в купеческие руки. Бывшая княжеская резиденция потерпела участь, испытанную потом многими и другими барскими имениями. Новый владелец, купивший имение за сто с чем-то тысяч, сумел в короткое время выбрать из него более того, чего оно стоило в покупке, и потом продать, кажется, за тройную цену. Все, что можно было вырубить, вырублено. Изящный дворец, с не менее изящными флигелями, манеж, который бы сделал честь любому губернскому городу и не посрамил бы даже столицы, псарный двор в виде замка с башнями, оранжереи, – все пошло на слом и продано враздробь: кирпичи – одному, мраморные плиты – другому; бронзовые, чугунные украшения нашли тоже охотных покупателей. На месте палат осталось голое место с тремя церквями, на которые не имела права посягнуть коммерческая рука.

Каждая из церквей имела свое назначение и свою историю. Одна, ближайшая к селу, называемая Соборною (во имя Собора Пресвятыя Богородицы), деревянная, но выкрашена белою краской, под стать усадьбе, чтобы не портить вида. Это и была собственно сельская церковь; к ней, в виде прихода, принадлежало село. Другая, крайняя, с другого конца, была погостом, где жили только священнослужители; приход ее рассеян по заречным деревням. Средняя церковь, пред княжеским дворцом, была «ружная». Строитель князь, он же зодчий всего ряда хором, не пожелал молиться вместе со своими «рабами», но хотел иметь свою церковь и своего попа, которого и посадил на «ругу», то есть на жалованье. Словом, – церковь плебейская и церковь патрицианская. Если князь не жаловал крестьянского деревянного храма, то и крестьяне не почитали (и доселе, кажется, не почитают) Успенской княжеской церкви, неохотно ходили и ходят в нее молиться, несмотря на то что она была теплая, имела придел с печью, тогда как Соборная оставалась нетопленую по зимам.

От причта этих двух церквей и идет мой род по обоим коленам, мужскому и женскому. Для своей ружной церкви князь искал попа видного и с голосом. В одном из своих многочисленных имений он нашел такового и перевел в Черкизово. Это был Федор Никифорович, мой прадед. Фамилии, разумеется, у него не было, и грамоту он знал плохо; но он поддерживал блеск княжеского двора. Подобно лакеям, одетым в ливреи и напудренным, князь находил приличным, чтоб и поп гармонировал со всем двором. Конечно мой прадед был не пудрен, но обязан был носить башмаки и чулки, наподобие бального кавалера. К моему отцу перешли между прочим камышовые и недешевые по-тогдашнему трости с серебряными набалдашниками: это несомненно были княжие подарки ружному придворному попу.

Какую противоположность с этим изящным по наружности попом представлял прадед мой по матери, поп Соборной церкви Михаил Сидорович, по прозванию Болона! Откуда получил прадед такое прозвище, родитель мой не мог объяснить. Но Болона был замечательный человек в своей окружности – он слыл богатым: у него были сапоги! Да, сапоги, и это считалось признаком достаточности, потому что большинство попов одевалось в лапти

и валенки. И Михаил Сидорович ходил также в валенках, но сапоги у него были и стояли в алтаре. Он надевал их во время служения. Была ли у него ряса, предание умалчивает. Вернее, что нет. Ряс вообще в заводе не было, и сельский батюшка, являясь в «епархию», чтоб идти на поклон к архиерею, брал рясу у кого-нибудь из городских священников напрокат. Это было удобно и дешево. К чему же обзаводиться рясой? Михаил Сидорович ценил свою состоятельность и не прочь был ею похвастаться. В праздники, когда собирались у него гости из окружного духовенства, он водил их в светелку, подымал крышку сундука и показывал рубли. Да, серебряные рубли были в диковину сельскому духовенству, быт которого совсем не отличался от тогдашнего крестьянского.

Удивительно: когда я в малолетстве слышал все эти подробности, не поражала меня эта противоположность двух прадедов: шелковые чулки и щегольские башмаки, плисовая ряса одного, валенки и нагольный полушубок другого. И жили они во ста саженях один от другого, и были приятелями, водили хлеб-соль, как окажется из последующего. Уже после стал я вдумываться. Мне кажется, чулки, башмаки, даже плисовая ряса (всё, разумеется, княжие подарки) были в глазах ружного попа тем, чем в Павловские времена мундир для солдата. Федор Никифорович скорее, вероятно, тяготился атрибутами блеска, нежели щеголял. Должно быть, и для него обычными были те же полушубок и валенки; а рублей и совсем не было.

Как бы там ни было, а два соседние попа, барский и мирской, в столь противоположной обстановке, были приятели. Федора Никифоровича Бог благословил детьми, преимущественно мужским полом; у Михаила Сидоровича Болоны была дочь. Читатель ожидает свадьбы. Он не отгадал; до свадьбы еще далеко: хотя Михаил Сидорович и породнился с Федором Никифоровичем, но после.

Времена тогда были тяжелые для духовенства. Указ был: гнать всех ребят мужеского пола в школу непременно, под страхом жестокого наказания. Федору Никифоровичу хотелось спасти хоть кого-нибудь, и он нашел случай пристроить Матюшку, еще малолетка, во дьячки и тем избавить от семинарии. Дьячком сын поступил к нему же, в Успенскую церковь, разумеется по назначению и с согласия князя, которому архиерей не мог перечить. До чего еще малолетен был мой дед в звании чтеца, доказывается тем, что, по семейному преданию, раз он, выйдя на амвон с Апостолом, сделал со страха против воли нечто такое, что случается разве во младенчестве. История эта не имела дальнейших последствий, и Матвей Федорович успел дорасти до иерейского сана и поступил священником в Коломну, к Никите Мученику, где пред тем был священником его же родной старший брат.

Перерву на минуту историческую последовательность рассказа и обращусь к остальным членам семьи Федора Никифоровича. Старший его сын, Василий, не избег семинарии. Он прошел всю ее премудрость и даже был по окончании курса учителем семинарии, что не мешало ему быть с тем вместе протодиаконном Коломенского собора. Отличительным достоинством всех сыновей моего прадеда, по крайней мере Матвея, моего деда, и его брата Василия, была голосистость. Это были два редкие баса, а Василий Федорович обладал даже необычайным. Иван Иванович Мещанинов (сын того Ивана Демидовича, который отхлопотал поправку в городском плане) передавал мне в сороковых годах, что во всю долгую жизнь свою он голоса такой силы и звучности не слышал, сколько ни знал протодиаконов вообще, и архиерейских, и придворных. Раз было, говорил он мне, пью я у архиерея чай в Подлипках (архиерейская загородная дача). День был жаркий, окна отворены. Я услышал гудение. «Слышите: это мои быки ревут», – сказал архиерей. Это означало, что Василий Федорович зашел к брату Матвею как раз ко времени вечерни. Отправились оба в церковь, и за дьячка ли, за дьякона ли служил старший брат, но они потешались, распевая и возглашая вперегонки. Таков был рассказ Ивана Ивановича, человека, не способного преувеличивать: я познакомлю читателя впоследствии с этим истинно замечательным лицом. Тем не менее

случай по-видимому даже невероятен. Подлипки от города отстоят по меньшей мере версты на полторы, а Никитская церковь, где потешались два «быка», лежит на противоположном конце.

Как бы там ни было, но голос, по крайней мере Василия Федоровича, был во всяком случае феноменальный. От его выкриков лопались стекла, как уверяют: вспоминается мне по этому поводу давно читанное известие о каком-то голландском пивоваре, разбивавшем двенадцать стаканов своим криком. Физиологическое явление это, оставшееся у меня в памяти по его необычности, приводимо было в подтверждение библейских толкований богословами натуралистической школы. Так называлась школа, отвергавшая чудеса, но не решавшаяся спорить с Библией. Все чудесные явления в обоих Заветах она объясняла естественными законами, и в том числе падение стен Иерихонских от трубного звука осаждавших израильтян. Здесь-то и пригодился голландский пивовар, которого без того я не имел бы удовольствия знать. Если существовал такой пивовар, то неудивительно и существование Василия Федоровича, глас которого разбивал стекла в окнах. Во время коронации императора Павла дед Василий в числе других протодиаконів участвовал в церемонии. Как случилось это, предание умалчивает. Выходил ли такой наряд для самой епархии, или же наряжен был коломенский протодиакон лично по известному его голосу, достоверно то, что Павел поразился и потребовал Василия Федоровича ко двору, возвышая его в сан придворного протодиакона. Консерватизм, должно быть, в роду был у нас по мужскому колену. Вместо того чтоб обрадоваться предложенной чести, Василий Федорович уперся, прикинулся больным, несколько времени воздерживался от служения даже у себя в городе и ходил, в качестве больного, летом в тулупе; подкрепленный свидетельством докторов и архиерея, он спасся от чести, которой позавидовал бы другой на его месте.

Чтобы кончить с Василием Федоровичем, прибавлю, что с переводом Коломенской архиерейской кафедры в Тулу, с нею последовал туда же и протодиакон. У него должно было остаться потомство, и встречая иногда в печати фамилию Черкизовский, я задаю вопрос: не внучата ли это или правнучата моего деда, которому было то же прозвание? Как говорено выше, отец его, наравне со всеми лицами из духовенства, не имел родового имени. Приходилось Федору Никифоровичу выдумать, когда отдавал сына в семинарию, и он окрестил его именем села.

Стоит сказать здесь, к слову, о происхождении вообще фамилий, носимых лицами духовного происхождения. Один шутник объяснял, что кутейника легко отличить по прозвищу: оно либо переделано из латинского (Сперанский, Делицын), либо связано с местным храмом (Покровский, Преображенский), или, наконец, ведет свое начало от «сладких» предметов: Малинин, Сахаров, Виноградов. К этому объяснению я добавлю еще два вида: один от села, как у моего дедушки, и затем целый рой Твердолюбовых, Доброславовых и тому подобных. Этого рода фамилии уже более нового происхождения; их придумывали учителя-умники и ректоры-прогрессисты тогда уже, то есть в нынешнем столетии, когда фамилии вроде Покровских и Воскресенских слишком опошлись и когда носить в своем имени напоминание о духовном происхождении начинало считаться не то что постыдным, а так, не вполне приличным; словом, когда левиты начали стыдиться своего происхождения.

Теперь я могу приступить к свадьбе, которой не без основания ожидал читатель при рассказе о моих прадедах. Если у Федора Никифоровича были по преимуществу сыновья, то у Михаила Сидоровича Болоны была дочь, Марья Михайловна. Отдана она была за дьячка в Москву, Федора Андреевича Руднева. Фамилия Руднев показывает, что дед мой по матери происходил из села Рудни. Странно как-то, что при тогдашней редкости сношений и при отдельности епархий, Московской и Коломенской, попала бабка в Москву; но было так: Федор Андреевич, зять Михаила Сидоровича Болоны, служил дьячком при церкви Григория Неокесарийского на Полянке. Чем он провинился, неизвестно в точности; покойный роди-

тель говаривал о тесте, что он «варил солянку в церкви». Так ли, иначе ли, но Руднев отрешен был от места и отдан в солдаты: он был красивый, высокий мужчина и потому записан в гвардию. Оставшаяся жена с дочерьми и сыном вынуждена была перебраться к отцу на хлебы в Черкизово. Сын взят был или отдан потом в «Армейскую семинарию»; две дочери, Акулина и Аграфена, тоже пристроены, одна за дьячка в Москву (Аграфена), другая за дьячка же в Черкизово, к той же Соборной церкви, при которой был сам Болона; тогда это было просто. На руках осталась одна младшая дочь, Мавруша, моя мать. У прадедушки Болоны была, таким образом, внучка, а у прадедушки Федора Никифоровича – внучата, сыновья Матюши, и из них младший Петр. Старший, Федор, едва-едва лизнул школьной грамоты, а Петр подвигался в семинарии. И сыновья, и внучата навещали старика, ружного попа; ружный поп с Болоной приятель и сосед. Младший внучек одного, Петруша, подходил как раз по возрасту к младшей внучке Болоны, Мавруше: Петруша годом был старше Мавруши. Старики про себя ударили по рукам: Петруша женится на Мавруше, когда, Бог даст, кончит курс. Место готово: Болона уже на исходе дней; он передаст «Соборную» церковь и свой приход внучатам, доживая век на покое. Знали ль молодые до времени предназначенную им судьбу или нет? Скорее, нет. Но спора тут во всяком случае нельзя было ожидать. Петруша был скромнейший, по-слушнейший юноша, очень красивый собой, а Мавруша и просто красавица. Какое могло тут встретиться препятствие? Ребята игравали вместе, когда коломенские гости навевались в Черкизово; старшие на них любовались. А намеченной чете, целомудренной в глубочайших складках души, даже в голову не приходило, что из них будет, и даже вопрос о браке вообще не приходил в голову: воображение было чисто.

Прежде нежели перейду к рассказу о том, как исполнилось желание старших относительно младших внучат, я обязан досказать судьбу Федора Андреевича, записанного в гвардейские солдаты. Не по душе пришлось это московскому дьячку. Он был живой, изобретательный человек, мастер на все руки, балагур, словом, – человек скорее легкомысленный, нежели серьезный. Тем замечательнее твердость, им выказанная. «Не хочу служить», – решил про себя Руднев и исполнил. Он притворился глухим. Каким испытаниям подвергался он, сколько побоев вытерпел – легко представить; это происходило в суровое Павловское время, когда палок не жалели. Во время сна стреляли над ухом Руднева, но он вышел победоносно и из этого испытания. Не осталось начальству ничего делать; его выписали в нестроевые и перевели в Ревель, отдав в распоряжение тамошнему коменданту. Комендантом был князь Волконский, отец Петра Михайловича Волконского, бывшего потом министром Двора при Александре I. Получив Руднева в распоряжение, комендант взял его к себе в денщики как смышленного и грамотного; даже более, приставил к детям в качестве дядьки и учителя. Глухота, разумеется, исчезла с той же минуты, как почувствовал себя Руднев в нестроевых; назад не вернут же. Нужно устраивать здесь, в Ревеле, свою судьбу и уметь снискать расположение командира. Деду моему удалось это вполне. Он умел вкрасься; в нем было нечто кошачье даже в наружности: ласковый, приветливый взгляд и круглые, голубые, добродушные глаза.

Учит дедушка княжат грамоте, князь в нем души не слышит: так умеет обойтись с ребятами! Не всегда княжата его слушались; дед сумел их развлечь играми или заковать их внимание рассказами, всегда увлекательными, умел пристыдить их в случае и в числе наказаний употреблял между прочим лапти, которые нарочно для этого сплел, лапти маленькие, на детскую ногу. Они были и игрушка, и своего рода плетка; не слушается князенок, упрямится, ленится: обуялся в лапотки. Стыдно сиятельному, и средство действовало.

Но дед Федор таил далекие планы. Он был дипломат. «Не хочу служить и не буду служить», – это было решено с первой минуты поступления на службу, и дед положил этого добиться; усердие к князю-коменданту было только искусным подходом. Грамоте дети были выучены скоро. Старый князь благодарен. «Ваше сиятельство! я нашел в вас второго отца;

как и ценить мне вашу княжескую милость! Но довершите благодеяние: изволили кормить до усов, соблаговолите кормить до бороды. Жена осталась на родине, дети. Мне хоть бы одним глазком взглянуть; отпустите меня к ним повидаться. Навек слуга я вашей княжеской милости». Князь был давно и постепенно подготовляем к такой просьбе; старался исподволь дед размягчить в этом направлении и сердце княжат.

«Отпустить! Отпуск не положен, нельзя». Но дед просил так настойчиво, так был убит разлукой с семейством; стали нападать на него меланхолические припадки (притворства было ему не занимать); так покорно и с такою сердечностью уверял, что «только лишь повидаться с семьей», а то он немедленно воротится и посвятит весь остаток дней сиятельному семейству, призревшему его, более дорогому ему теперь, нежели собственная семья. Князь уступил. Как он обошел формальности, не знаю, но он исходатайствовал деду ранее узаконенного срока «чистую» отставку. Дед собрался в Черкизово.

Нужно перенестись в то время, когда не было не только телеграфа, но и почтой пользовались только состоятельные и привилегированные лица. Послать письмо, это эпоха жизни, межа, с которой начинают отсчитывать время: «это было, когда получено было или посылали письмо...» Да и как писать в село? и где деньги у денщика, пусть он и князьим дядькой? Словом, прибытие солдата к жене, замужней вдове, было радостною неожиданностью. Объяснения, радостные слезы, рассказы. А в течение отлучки на военную службу, все-таки не кратковременной, случилось многое: Мавруша, между прочим, отдана замуж. Марья Михайловна проживала в Черкизове, но бывала иногда в Коломне у свата, Маврушина свекра.

Прошел день в воспоминаниях и разговорах. Наступает вечер и ночь. Марья Михайловна пропадает; где она? Федор Андреевич идет в Коломну к свату; он же и не видал его еще. Жена там; она успела предупредить о возвращении мужа. Новые разговоры, новые объяснения, новые радостные слезы. Проходит день, наступают вечер и ночь. Марья Михайловна вновь исчезает. На ночь она отправляется опять в Черкизово. За ней снова муж; но снова повторяется старое: днем она с ним ласкова, любезна, радуется на него, но на ночь удаляется. Собирается семейный совет, которому жалуется полупризнанный муж. «Люблю тебя, радуюсь тебе, – объяснила твердо замужняя вдова, – но быть для тебя женой, как была и как по закону Божию надо быть, не могу. Ты – солдат, а я не хочу, чтобы будущие дети мои были солдаты». Залилась сама слезами моя бабка, но осталась непреклонна. Покорился и дед. Расцеловались они как брат с сестрой, при дочерях и зятях, и как брат с сестрой провели остальную жизнь. Успел обойти дед гвардейское начальство, успел провести ревельского коменданта, но вся настойчивость его сокрушилась пред целомудренною твердостью женщины; мечты, которые годами лелеял он, обратились в дым.

Федор Андреевич проживал потом то в Черкизове, то в Коломне, разумеется не возвращаясь в Ревель; более – в Коломне, где помогал дьячкам в отправлении должности; зарабатывал иногда деньги чтением Псалтыря по покойникам, шитьем сапог и разным ремеслом, какое попадалось под руку. Он не дожил до старости, а ранее того проводил и жену свою в могилу.

Я упомянул выше об Армейской семинарии, куда отдан был единственный сын Федора Андреевича, Никита Руднев. Своенравный Павел, сосредоточив под управлением одного обер-священника все военное духовенство, устроил из него не только вполне независимую епархию, но и посадил обер-священника Озерецковского членом в Синод наряду с архиереями. Озерецковский – лицо замечательное, заслуживающее подробной биографии. Он родоначальник направления, от которого по прямой линии происходят отец Беллюстин, автор книги «О сельском духовенстве», и журнал «Церковно-общественный вестник». Личные неприятности с архиереем привели провинциального попа в Петербург, где чрез брата, члена Академии наук, он надеялся снискать себе защиту. Достиг он большего, нежели желал: снискал не только защиту, но возможность мстить своему архиерею, которого, пользуясь силой

в Синоде и при Дворе, гонял он затем с одной епархии на другую до того, что тот не вынес этого измывания и умер. Нет сейчас под рукой данных для справок, кто был этот архиерей<sup>2</sup>, но событие достоверно. Озерецковский мстил затем не одному своему архиерею, но архиерейству вообще, будучи *mytratus* рора, как называл его митрополит Платон, – «попом в митре», по власти не только архиереем, но почти патриархом, хоть и без епископского сана.

У этого-то митрованного попа была не только целая епархия в виде армейского и флотского духовенства, но и особенная в Петербурге семинария, названная Армейскою и пополнявшаяся детьми армейских священников. В ней-то учился дядя Никита Федорович. Кончил ли он курс, неизвестно мне. Между прочим, был он в качестве дьячка при Парижском посольстве, когда представителем России был князь Куракин; осталось предание, что в короткое пребывание при посольстве дядя удачно промышлял изготовлением и продажей кислых щей, напитка, неизвестного Парижу, но нашедшего там любителей. Никита Федорович поступил затем в Медицинскую академию, был полковым штаб-лекарем и умер в Баку, оставив небольшое наследство сестрам по оригинальной духовной, о которой будет сказано в своем месте.

Родословие моей семьи этим кончено. Отселе выступит пред читателем сама семья, лица, которых я уже узнал; ни деда, ни бабок я не застал, тем менее прадедов: все померли ранее, чем я родился, и даже дядя, о котором сейчас была речь.

---

<sup>2</sup> Боюсь ошибиться, но этим несчастным архиереем не был ли Афанасий Коломенский Озерецковский, если не ошибаюсь, был, между прочим, одно время и ректором в Коломенской семинарии. Не здесь ли даже началась и вражда?

## Глава III

### Родительское гнездо

Вникаю в почерк дедушки Матвея Федоровича. Как сейчас, вижу его подпись; я ее изучил хорошо, когда простаивал всенощные и обедни в алтаре, что случалось нередко, и когда голодный ум просил работы. Я всматривался тогда в лепного голубя на своде над престолом и лепные же лучи, от него исходящие, в железные решетки окон, задавая себе вопрос, почему они здесь такого изгиба, а в теплой церкви – другого. Каждая мелочь каждой запрестольной иконы высмотрена; рисунок серебряных окладов на них, где травчатый, где прямолинейный, замечен; горнее место, престол с дароносицей на нем; ниша с выдолбленной в ней чашей на дне для выливания воды, жаровня, кадило, жертвенник, даже полотенце с круглым зеркалом в четверть величиной, – все было сто раз осмотрено. Зеркало не раз было даже перевернуто и осмотрено с затылка. «Что это оно такое тусклое? Не металлическое ли оно, какие бывают, я читал? Ободок-то медный». Комод, где хранилась ризница, давно и не раз подвергнут тщательной ревизии: здесь краска потерта, здесь выпотела; из медных скобочек одна неисправна, и знаю где. Разводы на парче, если какое облачение лежит на комодe, тоже известны уже, и знаю, в котором месте серебро осыпалось и видны лохмы каких-то желтых толстых ниток. Но главными выручательницами были книги, лежавшие на том же комодe, «Устав церковный», во-первых (Типикон), раскрытый на том дне, которого служба правилась. Вкусная книга! вся закапанная воском; очень вкусным находил я, одновременно с углублением в чтение, отскабливать ногтем воск и потом разглаживать закапанное место. Затем «Полный российский месяцеслов» с описанием соборов и монастырей российских. Обеим этим книгам я обязан многими сведениями. Наконец, старые приходо-расходные метрические книги; они давали большую пищу любознательности. Какие смешные почерки, какие чудные имена! Некоторые и знакомы; это пишет Яков Юдич, староста; вон Половинкин, а он тоже был старостой. А это кто же такой, Постников? Тоже староста; должно быть, это отец был Николая Акимыча Постникова. А вот «иерей Матфий Федоров»; это значит – дедушка подписывал. Годы и дни рождения многих знакомых из прихожан запоминал я без усилия и без желания помнить, без ведома тех, кого удерживала память; но если бы меня спросили, в каком доме из прихода, я бы отвечал безошибочно, кто в этом доме когда родился и у кого кто был крестный отец. Отсюда же я запомнил, что дедушка умер в 1809 году и что на его место поступил мой отец; с любопытством не раз пересматривал записи о моих сестрах и братьях, родившихся в Коломне, и о том, кто умер из них и когда. Никого я об этом не спрашивал, и никто об этом мне не говорил, и никому сведений своих я не передавал, но все улеглось в памяти.

Итак, вот почерк дедушки, почерк твердый и ясный, как будто бы писавший и не из тех, кто «в школах не был». Вдумываюсь теперь уже, кто, однако, деда учил писать? Не Федор же Никифорович, едва грамотный; должно быть, кто-нибудь из дворовых. И значит, дед писал довольно, когда рука так освоилась с пером, окрепла. Потом: когда он женился, когда и где породились у него дети, здесь или в Черкизове? Книги не дают ответа; они не заходят так далеко. Несомненно во всяком случае, что в восьмидесятых годах дедушка был уже не дьячком в Черкизове, а иереем в Коломне. О бабушке еще менее известно; ее в книгах нет, в семейных рассказах имя ее упоминалось редко; говорилось только, что она баловала и прикрывала старшего сына Федора, который был семье не на радость.

Детей у деда было пятеро: кроме двух сыновей три дочери, из которых две, старшая и младшая, были пристроены за дьяконов, средняя – за псаломщика в Коломенском соборе. Средняя и младшая скоро овдовели и очутились снова на родительских руках. А старшая...

тоже давно овдовела, и я как сквозь сон едва-едва помню какую-то старушку в крашенном холоднике, которая бывала у нас еще при жизни матери и которую звали Катерина Матвеевна. Это она; должно быть, приходила она на побывку к дочерям своим: одна была за башмачником, другая – за хорошевским крестьянином, а не то может быть даже и жила у них.

Не без утешения вспоминаю я иногда, что родословие мое упирается в отставного солдата, а боком примыкает к ремесленнику и хлебопашцу. Судьба детей моего деда и их потомства этим и заслуживает внимания. В те времена, в начале нынешнего и конце минувшего столетия, ни в самом духовенстве, ни между ним и другими званиями (за исключением дворянского) еще не пролегал резкой черты и еще не зачиналось поползновений на какой-нибудь аристократизм по па пред дьячком и даже пред крестьянином и ремесленником. Аристократизм не успел по крайней мере спуститься до села и до провинции. Только в Москве рядные, сохранившиеся в консистории от XVIII столетия, обличают лисьи шубы у попов, экипажи и даже крепостных. В уездной, хотя епархиальной, Коломне дед, городской священник, брат учителя, чуть не префекта семинарии, выдает дочь за причетника. Положим, Марья Матвеевна имела несчастье быть рябою и потому не нашла себе более видной пары; но и это обстоятельство не лишено значения: приданое, стало быть, не стояло тогда на первом плане. Во всяком случае, если бы лет через сорок потом и даже тридцать последовал в той же Коломне и даже в той же семье подобный брак, на него посмотрели бы как на похороны: чтобы дочь священника была выдана за дьячка, внука – за мужика или за башмачника (очень бедных вдобавок)! Я помню девичество своих сестер; мое детское сердце вполне бы присоединилось к их отчаянию, когда бы предстал им такой *mesalliance*, и подсказало бы совет лучше оставаться век в девицах, нежели идти на такой позор.

Чудною представляется с нынешней точки зрения судьба и самой Катерины Матвеевны, тещи этого башмачника и этого мужика. Городской дьякон, за которого она была выдана, был не простой дьякон. Внушительно говаривали мне, что у него была «шпага и треугольная шляпа». Смутно я понимал, что такое шпага, но треугольной шляпы даже представить не мог; только ощущал, что какого-то великого отличия был удостоен дядя. Дело в том, что Гастев, такова была фамилия мужа Катерины Матвеевны, с таким успехом учился в семинарии, что его отправили в университет для «усовершенствования в науках». Это водилось. Сверх латыни семинаристы тогдашние сильны были по-своему только в богословии и философии, а в положительных науках и новых языках плоховали. Лучших воспитанников ввиду этого посылали в университет. Там-то удостаивались они «шпаги и треугольной шляпы»; по возвращении же на родину поступали учителями в семинарии.

Гастеву дали кафедру французского языка и определили в приходскую церковь дьяконом. По нынешним понятиям, поступок дикий. Умницу, дважды ученого человека определяют дьяконом к какому-нибудь охряпку-попу, который, может быть, и до Риторике не дошел, а то и не нюхал семинарии совсем, и у которого, однако, по иерархическому подчинению профессор-дьякон обязан целовать руку. Ныне такой случай причислен был бы к «проявлениям возмутительного деспотизма». Тогда же никого это не поражало, и сам Гастев не находил своего назначения неестественным. Ни малейшего намека на что-нибудь подобное ни от кого я не слышал, а слышал, наоборот, другое. Архиерей, помнится Афанасий, тоже знал французский язык (что не за всеми архиереями водилось) и потому с особенною внимательностью прислушивался к ученическим ответам на экзамене. Ученик переводил. «Не так!» – восклицает архиерей. Гастев докладывает, что переведено верно. «Неверно!» – настаивает владыка. – «Так как же нужно?» – «Знаю, да не скажу». – Об этом «знаю, да не скажу» батюшка мой любил повторять рассказ, поясняя, что архиерей, в сущности, разумел плоше и учителя, и ученика, а только корчил знатока. Впрочем, мнимое неудовольствие не мешало преосвященному неизменно после каждого экзамена приглашать Гастева с собой в карету и везти к себе на трапезу. Но прежде чем доехать до архиерейского дома, горячий

спор обыкновенно продолжался, и раз до того, что рассерженный Гастев вырвался даже из кареты и пришел к архиерейскому обеду пешком. Времена!

Что же, однако, произвело такой переворот в воззрениях, и в такое короткое время? Два закона: 1) требование, чтобы на священнические места определяемы были не иначе как кончившие курс, и 2) освобождение священников и диаконов от телесного наказания. Тем и другим внезапно приподнята была одна половина клира и над народною массой, и над другою половиной клира же. С тем вместе низшая половина клира низвергнута была на степень париев, нечистых самарян, которым «жидове не прикасаются». Впечатление усиливалось грозой рекрутчины, постигавшей выброшенного из школы, если не успевал он ни попасть на церковно-служительское место, ни «избрать род жизни» (юридическое выражение, означавшее приписку к податным обществам), и – рекрутчиной действительною, которой попадали дьячки, отрешенные от мест. Школе сообщилась магическая сила; как прежде упирались, так стали теперь напирать. Кончить курс, быть «кончалым», стало мечтой, управляющею всеми помышлениями подрастающего духовенства. Магическую силу приобрело не только звание «кон-чалого», но разряд, в котором курс окончен; кончивший в первом разряде всю жизнь потом свысока смотрел на второразрядного, тем более третьеразрядного. Чрез двадцать лет по выходе из школы он все еще видел в себе существо как бы из другого теста слепленное – пшеничного, не ржаного. А что сказать о воспитавшемся воззрении на школьный отброс, из которого начал составляться причетнический класс!

Разумная в основании мысль Сперанского, осуществленная преобразованием духовных училищ, произвела бесспорный вред, отдалив клир от народа, вместо того чтобы сблизить их, и посеяв раздор в самом клире, разделившемся на «черненьких и беленьких». Любопытный факт общественной патологии в этом смысле явила, между прочим, известная книга отца Беллюстина «О сельском духовенстве», составившая своего рода эпоху в истории административных и законодательных отношений к духовенству, продолжающихся отчасти доселе. Не щадя желчи и мрачных красок для изображения архиереев, которых автор величает «сатрапами в рясах», он с презрением, с гнушением опрокидывается на низший причт, даже не догадавшись, что обличает этим в иерее такого же сатрапа по отношению к дьячкам и дьяконам, каким описан архиерей по отношению ко всему духовенству.

Продолжаю прерванную нить рассказа. Не на радость семье был дядя Федор, сказал я. В молодости ему предстояла солдатчина. Попал ли он под один из тех указов, которыми от времени до времени производилось «очищение» духовенства, или же совершил какую-нибудь прямую повинность, только дед, чтобы спасти сына, вынужден был отправляться в Москву и валяться в ногах у наместника. Коленопреклоненный, со слезами молил он вельможу; но наместник был непреклонен, и дядю не миновала бы красная шапка, если бы не вступилась жена наместника, смущенная унижением «такого почтенного отца», как выразилась она, и тронутая его слезами. Черта опять не нашего времени: жена сановника присутствует при официальной аудиенции, даваемой просителю!

Спасенный от солдатчины дядя записан был в нижний земский суд и начал жизнь подьячего. Женился он потом, завел свой дом; он выстроил его в Репенке (так называется одна из городских слобод), на общественной земле, отведенной городом. Берег речки Коломенки, на котором стоял дом, начал обсыпаться, и дядя перенес свою оседлость на другой берег речки. в слободу «Запруды», где выстроил новый домик на земле, тоже отведенной городом. Там и я бывал, когда сопровождал причт со славленьем об Рождестве и Святой; кроме того, по случаю свадьбы Василия Федоровича, двоюродного брата, меня пригласили в качестве «мальчика с образом», неизбежного при благословении пред венчанием. Более я не бывал, и сам дядя навещал нас очень редко: два, много три раза в год, на Святой и об Рождестве. Не помню, чтоб он был даже на похоронах моей матери и на свадьбе сестры. Отношения между двумя братьями, а также и отношения сестер к старшему брату, вообще

были холодные, чтобы не сказать неприязненные. Братьев отчасти разделяла самая разница развития и противоположность идеалов. Сестры боялись задорного, придирчивого характера, которым, к несчастью, одарен был дядя, и брани, на которую он был очень скор. Тяжелое впечатление и на нас, детей, производил этот старичок во фризовой шинели и в картузе, обыкновенно надетом глубоко, с крикливым голосом, резкими движениями и бородой, которая казалась мне всегда мало обритою, потому что колола меня при поцелуях. С приходом его обыкновенно все разговоры прекращались; начинались сухие, отрывочные, казенные вопросы о погоде, здоровье домашних и тому подобные занимательные беседы.

Я зазнал дядю уже в отставке, губернским секретарем. С иронией говаривал мой отец, и в глаза своему брату и за глаза, что он нарочно вертится в базарные дни у кабака на Большой Московской улице, чтобы задрать полупьяных мужиков, вызвать на оскорбление и слупить за бесчестие. Дядя не гневался на это напоминание, напротив, с торжеством упоминал о своем калмыцком тулупе или даже указывал на него, когда дело бывало зимой. Тулуп приобретен был именно этим путем. С самоуслаждением говаривал подьячий Екатерининских времен и о наездах нижнего земского суда на деревни. Это бывало истинным Тамерлановым нашествием: пощады не было ни имуществу, ни чести; придумывались предлоги самые дикие (вроде рекрутчины с девок), пускались в ход вымогательства самые наглые, застращиванья, едва не истязанья. И рассказывалось об этом чуть не как о геройстве.

В дяде, впрочем, была одна черта, возбуждавшая к нему мое сочувствие: он был страстный и искусный садовод с юных лет. Искусство к нему перешло, очевидно, от мещанинских садовников. Сад Мещаниновых, послуживший, между прочим, как знает читатель, к изменению городского плана, был сад барский в полном смысле: на нескольких десятинах, со стриженными и крытыми аллеями, с двухэтажными каменными беседками и с фруктовым отделением. Он неизбежно должен был иметь ученых садовников, и от них заимствовал дядя и охоту, и искусство. Наш крохотный садик у Никиты Мученика щеголял разнообразием яблонь и крыжовников; это были следы трудов Федора Матвеевича, оставшиеся еще с того времени, как он жил при дяде. В собственном его садике цвели роскошные розы, и он ими щеголял.

## Глава IV

### Старая семинария

По всему видно, что Петруша был любимым птенцом своего отца. Да и как было его не любить, особенно в сравнении со старшим братом, дерзким, буйным, «матерщинником», как выражалась о нем заочно одна из сестер? Петруша был тихий, скромный, застенчивый юноша. Застенчивость осталась в нем неизменною до старости.

Сколько могу судить, школа досталась моему родителю не трудно, чему должно было способствовать то, что учителями были родной дядя и родной зять между прочим. Сужу по себе: не будь у меня двоюродного брата учителем, не поступи я к нему первоначально под крылышко, вся дальнейшая жизнь могла уложиться иначе.

Частью я перезабыл, может быть, а частью и сам отец, вообще не словоохотливый, скупился на подробности: многого об его ученье сказать не могу. Помещение было то самое, в котором и мне пришлось через пятьдесят лет внимать школьной премудрости. Остались до моего времени и те скамьи даже: описать их будет время. Метод учения неизменно продолжался до самого преобразования училищ повсюду тот же, о чем также будет сказано, передам некоторые отдельные случаи, врезавшиеся мне в память, особенно врезавшиеся, должно быть, и в память батюшки, потому что он неоднократно к ним обращался.

Был, между прочим, у них учитель Малинин, жестокий как никто, секший семинаристов и к делу и не к делу, не за что-нибудь, а по расположению духа. Придет и велит перепороть всех от первого до последнего. И замечали мы, бывало, рассказывал батюшка, в каком сюртуке идет Малинин; если в «кармазинном», значит, всем порка поголовно, и мы к этому готовились. (Что такое «кармазинный» сюртук, я не понимал тогда, не понимаю и теперь.) Велико было терпение вообще у ребят. Против розги в принципе ни у кого не было и в помышлении протестовать; но такое беспощадное и бестолковое применение довело класс до неслыханного поступка: они решили жаловаться архиерею! Почему прямо архиерею, минуя ректора и префекта? Должно быть, не надеялись на заступничество. Нарядили двух депутатов и отправили в известные читателю Подлипки, за город. Кремль Коломенский («город», по местному наименованию) стоит на горе при слиянии Коломенки с Москвою-рекой. Приречная часть стены, должно быть, и тогда уже до основания была в развалинах; путь к архиерейской даче, лежавший за Коломенкой, был виден из семинарии, помещавшейся в Кремле. Расставили махальных, которые должны были подать условленный знак при самом выходе послов с архиерейского подворья. Дом семинарии сохранился доселе; но тогда у него было то отличие, что во всю длину его именно к той стороне, которая смотрит на двор, а через него и на Коломенку, тянулись снаружи «хоры», по-теперешнему – открытая галерея с лестницами. Сидят за скамьями полумертвые в ожидании семинаристы. Нужно понять их положение, припомнив, что тогда учащиеся были в полном архипастырском распоряжении, вне всякого контроля свыше; гнев архиерея, и все они стерты с лица земли. «Идут!» – раздалось наконец с хор. Класс ринулся на хоры, и таков был единодушный дружный напор, что хоры не выдержали и рухнули.

Посольство увенчалось полным успехом. Через полчаса пришел Малинин в класс, плакал, просил извинения; пенял, что не обратились первоначально к нему лично, объяснял, что виновата его болезнь, не он сек, а она.

О другом случае порки вспоминал отец, касавшемся его лично. С двоюродным братом Прокопием, сыном Василия Федоровича, вздумали они прогулять класс и отправились за город. Узнано. Дядя Василий явился тогда в класс, хотя и не в нем учительствовал, и произ-

вел порку. Порка произведена была чувствительная, так что чрез пятьдесят лет живо вспоминалась батюшкою, и притом с одобрением.

Простота отношений с учащими и с начальством была замечательная. Богословский класс располагался летом на чистом воздухе в саду Спасского монастыря, настоятелем которого был ректор. И преподаватель-ректор читал свою лекцию, и ученики слушали его полулежа. По-видимому, отец мой даже не видал в такой, по нынешнему выражению, халатности ничего необыкновенного. Он упоминал о ней только в пояснение другого случая, более существенного, как ему казалось. Иван Лукич, товарищ-одноклассник отца и тоже двоюродный брат ему (по матери), раз указал товарищам на неосторожно раскрывшегося ректора и отпустил вполголоса не вполне печатную острогу, вызвавшую всеобщий смех. Ректор слышал сказанное, а Иван Лукич, чтобы загладить невежливость, на другой день поднес его высокопреподобию в классе же корзинку персиков, поделившись тут же частью и с товарищами. Он слетал за десять верст к садовнику князей Черкасских, с которым был знаком. Ректор принял подарок, и мир был заключен. Впрочем, Иван Лукич чуть ли не определен был уже тогда, хотя еще не посвящен, во священника.

К концу курса постигло семинаристов испытание. Царствовал Павел, и, несмотря на затрапез и крашенину, в которые облачены были студенты, они обязаны были, подстригая перед и брея бороду, отпускать и заплетать косы по форме, высочайше установленной. На головах обязательно шляпы. Когда рассказывал об этом отец, он всегда называл шляпы «коровьими». В чем была сущность этого наименования? Понятно, что поярковые, а тем более пуховые шляпы заводить голякам-семинаристам было не под силу, и не в этом смысле отец о коровьих шляпах упоминал; должно быть, ввиду указа изготовлялись какие-нибудь специальные шляпы, получившие, однако, название не от формы своей, а от материала. Любопытное, должно быть, зрелище представлял этот маскарад молодых людей в затрапезных и крашенинных халатах или понитковых кафтанах, без жилетов и без брюк, но с придворною косою и с форменною шляпой на голове!

К слову, об одежде. Знаменитый исторический деятель учился в той же семинарии, несколькими курсами моложе моего отца. Филарета мой отец помнил как очень скромного мальчика, «рябенького» (?), во фризовом сюртуке. Последнее обстоятельство придавало ему вид щеголя среди своих сверстников. По дедушке Никите Афанасьевиче будущее светило состоял соседом нашим. Зачатская церковь, в которой был священником дед Филарета, а после священствовал его брат Никита Михайлович, была одна из трех ближайших к Никите Мученику церковей, о которых было упомянуто в первой главе. Дяконом у Никиты Афанасьевича был Иван Яковлевич, двоюродный брат моего отца (сын Якова Федоровича) и мой крестный отец; у Ивана Яковлевича сын Григорий Иванович, впоследствии известный протоиерей Троицы на Листах, зять митрополита Филарета, женатый на его сестре Аграфене Михайловне и отчасти сосватанный за сестру самим владыкой. Когда родители спрашивали его совета, за кого пристроить дочь, он и указал им студента, давно им известного, которого и Аграфена Михайловна знала с детства. Так гласит наше семейное предание; сохранилось ли оно в родстве знаменитого митрополита? Дроздов (будущий митрополит) гащивал у дедушки. Несмотря на свою скромность, он не чужд был и шалостей. На моей уж памяти, раз во время посещения владыкой родины, напомнил ему о детстве один из купцов. «А помните, владыка, – сказал он ему, – как мы с вами лазили через забор за яблоками в сад Корчевских?» Это были соседи Никиты Афанасьевича.

О коровьих шляпах и обязательной косе родитель мой вспоминал не иначе как с горечью, чуть не с проклятием, и не из-за них самих, а из-за того, что обязанность отправляться к цирюльнику для приведения головы в указный вид познакомила его с употреблением хмельного. До того он рос как красная девушка, в родительском доме, не отлучаясь никуда, кроме школы и родных, у себя в городе и Черкизове. Но там, в Запруде, где помещалась цирюльня,

помещался и погребок; в нем угощались товарищи, сходящиеся для убранства голов. Там-то и вкусил мой родитель, упрощенный более опытными семинаристами, сначала «романей» и какой-то наливки. Негодование возбуждалось воспоминанием об этом обстоятельстве в моем родителе потому, что спиртные напитки производили на него раздражающее действие. Употребленные без меры, они перерождали ягненка, каким он обыкновенно бывал, в зверя. Он знал это и не поминал добром запрудской романей.

Приближалось окончание курса. Оставался всего один год. Старики Федор Никифорович с Михаилом Сидоровичем, давно ударившие про себя по рукам, о чем, без сомнения, предуведомлен был и Матвей Федорович, объявили о решении молодым людям. Состоялась помолвка. Благословили, и девятнадцатилетний жених каждую субботу и канун праздника отправлялся к невесте в Черкизово. И не с пустыми руками выдавал прадед Маврушу: из заветного сундука сто серебряных рублевиков приготовлены были к выдаче в приданое, не говоря о полном хозяйстве, лошади с упряжью, коровах, овцах; и вдобавок готовое место, да еще в кругу родных. Два деда под боком; теща, свояченица со свояком-дьячком при том же приходе и первоначально в одном доме. Двадцатилетний хозяин имел и готовых руководителей. Все улыбалось, все готовило счастливую и веселую будущность. По окончании курса не замедлили последовать свадьба и посвящение Петра Матвеевича Никитского к церкви Собора Пресвятыя Богородицы в селе Черкизове. Со ставленою грамотой, подписанною Мефодием, епископом Коломенским и Тульским, отправился юный иерей в новое гнездо, не задержанный обязанностью учиться священнослужению, как другие. И на этот раз судьба благоприятствовала. Согласитесь, весело ли проводить медовый месяц на чужбине? А это неизбежно происходит со всяким ставленником, обязанным обучаться священнослужению под руководством кого-нибудь из старших в епархиальном городе.

Читателю видно, что моему батюшке фамилия была уже Никитский, а не Черкизовский, как у его дяди. Дядю отдали в семинарию из Черкизова, и потому прадед назвал сына Черкизовским. Матвей Федорович, не бывший в школах, остался без фамилии, подобно своему отцу; повторить фамилию брата он не рассудил, а назвал своих сыновей по церкви. И эта фамилия, однако, не уцелела: младший Никитский своим сыновьям придумал уже другую, более, казалось ему, красивую и благозвучную.

С окончанием курса Петром Никитским почти кончилась и Коломенская семинария. Не более года, кажется, она после того просуществовала. Вместе с епархией переведена была она в Тулу; епископ Коломенский стал именоваться Тульским, а к титулу Московского митрополита прибавлено «и Коломенский». Епархии были разверстаны по губерниям, семинаристы – по епархиям, к которым оказались принадлежащими. Опустела родина. Она подошла под тот тип казенщины, который там раньше, там позже, но неуклонно повсюду овладевает Россией, стирая все бытовое, местное, историческое, не щадя ни одного уголка, ни одного отправления общественной жизни. РЕ ныне развенчаны Ростов и Переславль, позже или одновременно с Коломной – Белгород и Переяслав. С каким-то кажушимся озлоблением, а в сущности даже безотчетно преследовались самые названия, и притом когда они ничему не мешали и никакого затруднения административной машине учинить даже не могли. К каким затруднениям, например, могло повлечь именование епископа «Тульским и Каширским»? Второй титул архиереев ровно никаких практических последствий за собой вообще не влечет, хотя бы назвали кого Гвинейским или Новозеландским. Однако Тульский епископ именуется теперь «Тульским и Белевским».

Кашира все-таки древний город, значился в старых архиерейских титулах; так нет же, долой ее. Для чего это?

Для чего! Вопросом этим предполагается цель, умысел; расширение и углубление казенщины хотя и продолжается неумолимо, но давно перестало быть последствием чьих-либо расчетов. Оно совершается самостоятельно; люди служат направлению, а не двигают

им. На каждый раз найдутся частные объяснения и побуждения. Недавно, кажется не более года назад, Белгородская семинария переведена в Курск. Объяснения нашлись, конечно: в губернском городе «удобнее» быть семинарии; сношения с начальством легче, да и мало ли каких возражений можно набрать против оставления семинарий в уезде? Лет десять, двенадцать назад велась в печати оживленная речь о том, чтоб и Московскую духовную академию перевести из Троицкой лавры в Москву. Тоже находились поводы и основания благовидные. Но, в сущности, во всех этих проектах и мероприятиях действует фронтовой идеал, который заседает в душе русских умников. Разнообразие коробит, волнистые линии колют глаз, личная самостоятельность, местная особенность приводят ум в замешательство. Безотчетное чувство понуждает приводить все к одному уровню, превращать, хотя бы насильно, всякий органический процесс, если возможно, в механический. Между прочим и мысли спокойнее. Она приучается к общим местам, следовательно, к безмыслию; жизнь совершается по общим формам, следовательно, двигается, а не живет. Что такое губернский город? Город, в котором находится губернатор, архиерей и острог, а кстати и гимназия с семинарией; беспокойно представить «губернию», в которой бы не доставало этих атрибутов гражданственности или представить иное вообще их размещение.

С плачем проводили коломенцы архиерейский двор, консисторию, учителей и учеников семинарских. Отселе они живут в городе исключительно торговом. Торговые интересы будут отселе главные и единственные; на них будет сосредоточиваться и покоиться общественное внимание: гурты, барки, хлеб, сало. Экономическая жизнь города с выводом епархии не потерпит; она держится на твердом основании, не зависимом от административных деяний; ей нанесен будет удар чрез шестьдесят лет, но с другой стороны.

## Глава V На переходе

Не такова сладость жизни досталась молодому Петру Никитскому, какая обстоятельствами сулилась. С поступлением на место он попал, по его выражению, в жернова. Двадцатилетний юноша, возросший под крылом батюшки с матушкой в городе, выдавший деревню только мимоходом во время кратких побывок у родных, не умел отличить ржаного колоса от ячменного. Между тем вся дальнейшая жизнь должна основаться на хозяйстве; довольство ее будет зависеть от земледельческого труда и умения. Ни дед, ни теща, а и того менее свояк-дьячок со свояченицей не могли быть довольны белоручкой, как они его называли, попавшим к ним в дом: «Смотри, ученый, соху от бороны не отличит, лошадь даже путем запрячь не умеет». Начнут, бывало, меня пилить, вспоминал родитель, в четыре пилы, урекать, жаловаться, стыдить, насмехаться, а жена плакать... И каждый-то день так! Тяжко, невыносимо становилось моему родителю, который отгрызнуться не умел, да притом сознавал правду упреков. Пойду, бывало, объяснял он, через мост на другой берег, посмотрю на Коломну и плачу. С другого берега действительно коломенские церкви видны были как на ладони, так бы и полетел под родительскую кровлю! А в сущности батюшка ведь был главой дома; повелительным тоном он мог бы прикрикнуть, тем более на дьячка-сваяка, лицо, по-видимому, вдвойне подчиненное. Но он был беспомощен, против него было все в заговоре кроме жены. Бедовое дело поступать «в дом», хотя бы и хозяином, когда порядки в нем установились и лица действуют те же.

И служба оказалась тоже не очень веселою. Курная изба с дымом, режущим глаза, краюха хлеба вместо денег за требы, и в довершение холодная церковь. В храмовой праздник, 26 декабря, случалось, руки примерзали ко кресту и губы к потиру.

Как быть должно, с поступлением на место молодой соборный поп первым делом отправился на поклон в княжеские палаты, к владетельному князю Борису Михайловичу Черкасскому, бригадиру в отставке, обладателю многих тысяч душ в округности, не считая имений в других губерниях. Застенчивый Петр Матвеевич растерялся, не знал, как ступить, как сесть, и рад был, что аудиенция продолжалась всего несколько минут. Откланявшись князю, направился мой родитель по паркетному, от роду не виданному полу к выходу, и можно вообразить его смущение, когда вместо двери он наткнулся на стену. Чопорная симметрия, в какой расположены были все княжеские хоромы, сказалась и здесь: с двух боков гостиной были одинаковые двери, и одни из них фальшивые. При входе уже закружилась голова у трепещущего иерея, и он не помнил, откуда зашел. Пренебрежительно-покровительственный голос князя вывел моего отца из смущения; князь указал на стоящие двери.

С кем же разделить душу? Оставались дворовые люди, эта интеллигенция села. Большинство приняло нового батюшку с сочувствием. Их требования были выше того, чтобы довольствоваться Болоной в его нагольном тулупе, не способным рассуждать о чем-нибудь, кроме мужицких дел. А они видали кое-что, бывали в Москве, многие состояли уже вольноотпущенными, иные даже почитывали. Но величайшим благодеянием и главной отрадой было для отца, что в приходе у него кроме князя оказался еще помещик, в версте от погоста, Василий Любимович Похвиснев. Не иначе как с самым теплым чувством вспоминал о нем под старость батюшка.

Василий Любимович Похвиснев принадлежал к числу тех представителей среднего дворянства, которые олицетворяли тогда (да и теперь олицетворяют) главный ум России. Сколько можно судить по рассказам отца, Похвиснев был Новиковской школы. Он получал тогдашние журналы, читал все, что выходило. С соседом-князем не водил знакомства.

«За хвостом дядюшкиной лошади ездил; вот вся заслуга, за которую он получил бригадирский чин», – так отзывался о князе Похвиснев. (Князь доводился племянником фельд-маршалу Румянцеву). Князь любил удить и, окруженный челядинцами, просиживал иногда на мосту целые часы за этим занятием. «Знаете ли, батюшка, какая будет правильная дефиниция удочки?» – спрашивал Василий Любимович моего отца по этому поводу. «Удочка есть орудие, оканчивающееся с одной стороны поплавком, с другой – дураком». Эта дефиниция и записана была у батюшки в особенной книге, куда он заносил замечательные изречения, вычитанные или слышанные им. Туда же переписывал он стихотворения, нравившиеся ему. Книга листового формата, в черном кожаном переплете; заведена она, судя по отметкам, еще в Черкизове, и до десятых годов нынешнего столетия продолжались вклады в нее.

Василий Любимович обласкал молодого священника, дал ему свою библиотеку в распоряжение, и отец находил в чтении усладу, отдохновение от непривлекательной действительности. Естественно, что сухо смотрел на близость попа к соседу-помещику князь, ненавидевший Похвиснева за независимость вообще и за то в частности, что никак не соглашался тот продать сиятельному соседу свою Бохтемеревскую усадьбу, которая бельмом на глазу сидела у князя. На десять верст простирались княжие владения, а тут торчит это чужое Бохтемерово, да еще в руках этого досадного вольнодумца. Дворяне и не беднее его состояли при дворе князя, потешая его и прислуживаясь к нему: как не гневаться на такое резкое исключение!

Кроме дворян-прихлебателей князь, как и подобало особе такого ранга и звания, кормил несколько сот дворни и несколько тысяч псарни. Он был холост. Но в палатах его, при самой их постройке, предусмотрительно выложена была потайная каменная лестница, по которой водили к нему в спальню метресс из дворовых и крестьянок, им облюбованных. Многих он бросал после первых наслаждений. Но две долго владели его сердцем, оспаривая его одна у другой. Одну звали Наталья Ивановна; я зазнал ее еще в живых, и скончалась она почти столетнего возраста, пережив даже освобождение крестьян. Очевидно, она была красавица смолода; да, впрочем, об этом свидетельствовал и медальон с ее волосами и портретом, подарок князя. Она доживала остаток дней на месячине, среди той же дворни, в особой, впрочем, приличной квартире. Бывшей барской барыне оставили это положение сын и потом внук князя, из уважения к памяти отца и деда. Счастливее Натальи Ивановны была ее соперница, дочь кузнеца. Счастье ее было то, что она приносила детей сиятельному другу. «Если бы мне Бог дал детей, не то бы я была», – говаривала Наталья Ивановна. Детей князь воспитывал достойно их происхождения. Их народилось уже пятеро, если не шестеро, в том числе четыре сына. Раз, выбрав час и день, когда князь расположен был к мягкосердечию, мать со всеми детьми вошла к нему и пала на колена. Что происходило далее между ними, это известно им одним; но вскоре князь сочетался законным браком с матерью своих детей, и тогда-то Наталья Ивановна поступила за штат.

Кто же, однако, они, эти дети? Некрасиво значатся они в метриках: они – незаконно-рожденные дворовой или крестьянской девки такой-то. К числу имений князя принадлежал известный Нижний Ландех, отчина знаменитого Пожарского, в несколько тысяч душ, перешедшая по наследству в род Черкасских. Князь решил продать ее (кажется, крестьяне сами выкупили себя), чтобы детям, рожденным до брака, купить дворянство. В те времена покупка этого товара не была невозможностью; в Польше шляхтою хоть мост мости; оставалось найти подходящего шляхтича, который бы решил продать свое имя; затем – найти дельца, который бы оформил куплю. Делец найден, и экспедиция отправлена. Молва болтала, что в числе дельцов, главным или второстепенным, был известный впоследствии археолог П.В. Хавский, скончавшийся недавно столетним стариком. Он сам этого не отрицал, хотя лично мне не удалось его об этом расспросить. Да и по годам его так выходило. Молодость Хавского принадлежала еще Екатерининским временам: к воцарению Павла он

был уже таким для провинции значительным чиновником, что приводил жителей (кажется, Егорьевска) к присяге новому царю. Притом он был коломенец.

Экспедиция совершена была удачно. Незаконнорожденные дети кузнечихи обратились в дворян Витоновских. Впрочем, ненадолго: с высочайшего разрешения они были усыновлены (это было при Александре I) и стали князьями Черкасскими. Напрасно только потрагился князь и спустил такое богатейшее имение, как Нижний Ландех!

Жить вместе со свояком стало невольно отцу. Да и не порядок попу вести общее хозяйство с дьячком: доли разные. Пришлось разделиться и разойтись, а отцу строить новый дом, или, точнее, дом просто, потому что прежнее помещение была изба, а не дом. Я видел памятник зодческих способностей отца чрез тридцать лет после того, как он был воздвигнут. Дивлюсь ненаходчивости зодчего. Она была, впрочем, общая тогда всем. Ту самую черту неразвитости искусства замечаю и в коломенском доме, который построен был дедом и дошел в девственной неприкосновенности до моего времени.

Историю дедовского дома рассказывают так. Бревенчатый четверугольник перегорожен рублеными стенами на четыре равные части. Одна половина четверугольника была «покой» (две комнаты равной величины); другая состояла из холодных сеней и «топлюшки» или «стряпущей», по-нынешнему – кухни. Снаружи лестница и крыльцо. Должно быть, неприглядны были и для тогдашнего времени поповские хоромы. И.Д. Мещанинов, о котором уже знают читатели, заметил деду, что пора бы этому дому и на покой. «Да с деньгами не соберусь», – был ответ. На другой же день явились к деду возчики с вопросом: «Куда велишь сваливать?» Привезен прекрасный шестивершковый сосновый лес, подарок Мещанинова; явились и плотники от него. Дед построился, но как? Старого дома все-таки было жаль; он его перебрал и передвинул, а к нему приставил новый такой же величины, и образовалось следующее:

Величина была очень порядочная, и давалась возможность полному комфорту; возможна была и фигура. Ничего такого не оказалось. С потугами на нечто более цивилизованное разделена была новая половина по крайней мере на части неравные. Но снаружи симметрии никакой; окна были неровные, и все простенки разной величины. Не было догадки, да очевидно и потребности, на изящество и удобство. Лица подобного звания и достатка, как дед, имели пред собой с одной стороны избу, и притом курную, с другой – барские хоромы, назначенные для житья при более или менее многочисленной прислуге. Среднего типа не представлялось.

Чтобы не возвращаться к этому чудному на нынешний взгляд дому, доскажу об его постройке и внутреннем расположении. Срубили дом; предстояло озаботиться о печи. Могли удобно поместиться две печи с отоплением всего дома. Но это было бы таким смелым нововведением, которого от Матвея Федоровича нельзя было ожидать. Печь была сложена одна, правда, на славу, огромная и притом с лежанкой; зато половина дома оставалась холодной. Рассказывали мне, что кладка печи была великим событием. Для печника не жалели угощения. Печник – великое дело! Или сложит такую, что не будет греть, помрешь от сырости и угара; или, что особенно страшно, что-нибудь такое положит в печь, что пойдет несчастье за несчастьем, не то домовая заведется, нечистая сила выживет (печник и мельник слыли неизменно колдунами: их мудреного дела иначе народ и не умел себе объяснить). Но печник попал богобоязненный: «Такую, батюшка, сложу, что дом переживет». И действительно, чрез пятьдесят лет после кладки я знал ее: она стояла, как была, ни разу во все время не потребовала починки, когда дом уже обветшал. Славная печь! На ней укрывалось, бывало, в зимние вечера, все наше семейство: мать или тетка с сестрами за работой, и я тут же; иногда отец подсядет на лежанку. А на полатах против печи можно и еще поместиться

троим, четверым, и помещались при случае, когда у нас гащивал кто-нибудь. Но возвращаясь к описанию дома.

Снаружи лестница открытая и за ней крытое крылечко (см. на чертеже I). На нем висит глиняный рукомойник, тот гениальный рукомойник, который изяществом фигуры напоминает этрусков, а удобством превосходит рукомойники всего мира. Смеют ли по удобству соперничать с ним разные хитрые снаряды со сложными механическими приспособлениями, а и того менее – обычный европейский таз с кувшином, при котором или предполагается прислуга, или же предоставляется мыть себя тою же водой, которая стекает с грязного лица и рук?

С крыльца ход в холодные сени (З); ведет в них широкая дверь с кольцом. Сени разрезают середину дома, упираясь в топлюшку. Из них лестница на верх, в светелку (тесовую) с балконом, смотрящим в сад и на реку. Налево из сеней ход в нижнюю светелку (И), холодную, хотя из рубленого леса; направо в маленькую «прихожую» (Ж); прямо, как сказано, – в «топлюшку» (Б). Из топлюшки налево одностворная дверь в другую светелку (А), тоже рубленую, но тоже холодную. Против светелки одностворная же дверь в другую прихожую (В), параллельную первой. Здесь драгоценная лежанка, идущая с печью чрез всю комнату. С лежанки, если угодно, отправляйтесь на печь (Г), с нее на палата, простирающиеся надо всем свободным от печи пространством. Далее ход в «боковую» (Д). Печь с лежанкой занимает столько места, что двери негде было навесить. Из боковой двухстворчатая дверь в «горницу» (Е), из горницы двухстворчатая же в прихожую N 1 (Ж) и оттуда в сени. Или наоборот, пойдем парадным ходом: из прихожей N 1 в горницу (по-теперешнему «залу»), отсюда в боковую; назовите ее спальней или гостиной, как угодно. Из боковой чрез прихожую N 2 и кухню снова в сени. Светелки были непроходные и одна с другой не соединялись.

По стенам неподвижно прикрепленные лавки, и только в горнице крашенные стулья, обитые кожей, лоснящиеся и блестящие от долгого употребления (так же лоснилась и лекадь на печи от полустолетнего на ней сиденья). На стенах в горнице портреты, должно быть из мещаниновского дома, выброшенные оттуда за негодность. Один изображал Екатерину, другие два – каких-то мальчиков в белых воротничках. Почему-то в малолетстве воображал я в них великих князей. Должно быть потому, что первый портрет был царский.

Прошу извинить за подробности, но они кажутся не лишними для истории быта вообще, для выяснения пути, каким двигалась и распространялась цивилизация в теснейшем ее смысле бытовых и хозяйственных удобств. Стулья, как видит читатель, были еще роскошью, и в нашей семье они оставались недостижимой роскошью до тридцатых годов текущего столетия. Знаете ли, между прочим, чему обязаны знакомством со стульями даже селения, лежащие под самую Москву? Нашествию французов и за ним последовавшему нашествию крестьян на ту же Москву с целью грабежа. Награбленная мебель послужила образцом для комфорта и типом для ремесла. И еще: кто разносит, знаете ли, и сейчас цивилизацию домашней утвари по всей России? Станционные дома железных дорог, внезапно появляющиеся там, куда изобретение диванов и стульев еще не дошло.

Родитель мой выстроил себе дом тем же крестовидно разделенным четверугольником, какой был у деда в старом доме. Лишнего материала не было, чтобы позволять себе такую роскошь, как прихожая. А просто: ход с крыльца в сени, по обыкновению холодные, хотя рубленые. Налево та же «горница» с «боковой» и прямо та же кухня и та же одна печь; нет нужды, что кирпич был дешев, а дрова даже свои, собственного церковного леса. В тридцатых годах брат, поступивший в Черкизово на то самое место, на котором был некогда отец, и получивший в обладание дом, сооруженный родителем, возмущался тем особенно, что не было передней: из холодных сеней прямо в залу (горница тогда уже переименовалась в залу). Время успело совершить свое: у духовенства явились верхняя одежда и калоши, которые

приходилось оставлять вне покоев, да и посетители бывают такие (с лакеями, пожалуй), что без передней обойтись нельзя.

С добрый десяток лет пробыл батюшка в Черкизове, схоронил обоих дедов и даже успел попасть под суд чрез одного из них. Практический старик Болона смастерил какую-то незаконную свадьбу. Жених с невестой толкались в разные места, но получали отказ. Священник одного из соседних сел, двоюродный брат отца и, следовательно, родственник Болоны (Иван Лукич, упомянутый в прошлой главе), обратился к старику. Поп-родственник обвенчал, старик же достал черкизовские метрики, куда и вписано было венчание. Воспользовался ли он отсутствием отца или как иначе ухитрился, только дело открылось, и отца обвинили в том, что он не донес, и послали за это на неделю под начало в Голутвин монастырь вместе с венчавшим попом, двоюродным братом. Наложённое покаяние было не очень сурово. Эпитимия более состояла в попойках и угощении монахов; но отец до старости не мог простить деду этого злоупотребления доверенностью. Сиротой выглядывал он потом, когда после Двенадцатого Года все получили известные бронзовые кресты, а он нет, за то, что был штрафован. Воспоминание о дедушке Болоне, полагаю, вскипало в нем каждый раз, когда в крестном ходе приходилось ему выступать среди священников-сверстников, как бы оплеванным. Уже чрез двадцать с лишком лет после знаменитого Двенадцатого Года несправедливость была заглажена: крест был надет на батюшку, и при обстоятельствах загадочных. Неожиданно получено было из Москвы приглашение от викарного архиерея (Николая) явиться на подворье. Много было тревоги и недоумений: у меня, мальчика, сжалось тогда сердце. Приглашение притом необычное, не чрез благочинного, а прямо от преосвященного, за его подписью. В тоске ожидали все мы, дети, возвращения батюшкина из Москвы: какой и откуда гром грянет? Однако возвратился отец, и загадка разъяснилась, иль нет – задалась еще другая, мудренее. Владыка принял отца и объяснил коротко: «У вас нет еще креста за Двенадцатый Год; вот он, получите». Кому пришло в голову, чьему вниманию обязан, что вспомнили? Не из тех юрких людей был мой отец, чтобы об этом дознаваться; а чтоб идти для этого еще задним ходом каким-нибудь – Боже сохрани! Лишь бы скорее до дому. Так и осталось для нас всех загадкой. И так как И.И. Мещанинова привыкли мы все считать своим добрым гением и знали его неисчерпаемую доброту, то домашним советом было решено: «Наверное, это он; это он ездил ко владыке и просил. Кому же больше?»

## Глава VI

### Второе поколение

Десять лет, проведенных в селе, не приучили отца к хлебопашеству, хотя земля и должна была служить главным подспорьем для жизни. Пашни и покос в воспоминании его не занимали никакого места, хотя не прочь он был припомнить о том, например, как ходил по грибы и собирал ягоды. Никогда ни с сыном, ни с зятем, занимавшимися земледелием, не перебрал он слова об урожае, почве, удобрении. Уверен я, что он не выучился косить. Обзавелся ли он даже лошастью? Вероятнее всего, хозяйство ведено было им в Черкизове так, как шло оно у брата Сергея Петровича в первые годы по поступлении на то же черкизовское место. Сено косилось «помочью», а земля сдавалась в аренду, с платой отчасти зерном и отчасти деньгами; может быть, высевалась какая полоска и собственными семенами, но при посредстве крестьянских рук. Земли у черкизовского причта было много, даже очень много; в теперешнее время, по соединении обеих церквей, Успенской и Соборной, считается если не 800, то более 600 десятин во всяком случае. Это богатство, воля ваша. Я упомянул о последовавшем слиянии двух церквей в предположении, что, может быть, прежде часть земли приписана была и к Успенской церкви, следовательно, отец, в качестве Соборного священника, ею не владел; но сомневаюсь: при Успенской, как ружной церкви, едва ли была земля. Итак, при многоземелье кормиться можно было, особенно с теми ничтожными потребностями, какими ограничивались мои родители. Кушали они бесспорно свое. Овцы и птицы были у них свои, следовательно, было и мясо, не на каждый день конечно, да и не на каждый скоромный день. Хлеб свой, крупа своя, овощи тоже, масло тоже – и коровье, и конопляное, и льняное. Чего же еще? Одежды для отца в течение десяти лет, конечно, не требовалось. В этом, между прочим, преимущество рясы; на моей памяти, в течение двадцати лет, раз только, один только раз обратился батюшка к портному за шитьем рясы «казинетовой» (казинетом назывался пониток, то есть материя из ниток с шерстью, но менее грубая, нежели обыкновенный крестьянский пониток). Ряса эта была еще перекрашена, и из нее мне сшили «чуйку». А то были все вековые рясы, некоторые еще от деда и прадеда. На зимнее время требовался еще полушубок под рясу; при своих овцах за нагольной овчиной дело не могло стать. Летом же подрясник почти и нужен не был: батюшка ходил в рубашке обыкновенно, да крашенина для подрясника могла опять быть поставлена домашними средствами; лен свой, пряжа своя; матушка была даже замечательной искусницей: за один ее холст менялись охотно крестьянки двумя. Матушке для одеяния столь же мало требовалось; на сарафан шла та же крашенина. Белье для обоих свое, и для детей тоже; а детям кроме рубашонки ничего и не нужно. Обувь была статьей более важною: валенки, как и рукавицы и чулки, домашнего изделия из своей шерсти; но сапоги и черевички, как у нас их называли, употребляя слово, напрасно принимаемое некоторыми за исключительно малороссийское, – это требовало денег. Прибавить к этому соль и вино; вот и все статьи, требовавшие цивилизованного «орудия мены», то есть пятаков. Даже свечи, насколько они могли понадобиться, макались из домашнего сала, собственноручно. О чае с сахаром не упоминаю, потому что эта городская прихоть родителям моим была незнакома, и самоваром они еще не обзаводились, когда были в Черкизове.

Меня удивляет другое: как родитель мой не приохотился к земледелию теоретически или дилетантски? Он читал, читал много. Труды Вольно-экономического общества не проходили мимо него; академическое издание Миллера тоже было им читано, и не бесплодно. Высказывал он иногда суждения о состоянии и способах земледелия в той или другой стране, о разных хозяйственных произрастениях, о домашних животных, – суждения и замечания,

почерпнутые из книг. Как было не приложить своих знаний хотя в уголку, не говорю пашни, но сада, огорода?

Нет, впрочем, я и этому не удивляюсь. Того, что называют практическим, не было вообще и тени в отце, а книги еще более уносили его в мир идеальный, и чем далее от действительности, тем было ему любее. Он рассказывал о путешествиях, о далеких странах, о морях, о флотских обычаях, о древних и новых героях, о Сократе и Диогене, о переходе Суворова через Альпы, о Ломоносове, забирался на звезды; любимую его угрозой семье было, что он уйдет во флотские священники. Сколько могу судить, в нем развилась мечтательность, и он жил в мире фантазии, куда уносился, не делясь с другими своею внутреннею жизнью. Догадка эта приходила мне еще в малолетстве, когда, выпивши, удалялся он, как бы спать, в горницу, а мы с тревогой посматривали в дверную щель, успокоился ли он. Чаще всего я видел его не лежащим, а сидящим и как бы рассуждающим, с живыми телодвижениями, с поворотами головы, размахами рук. Когда отворялась дверь, он с каким-то испугом оборачивался к вошедшему и спрашивал ласково, что нужно, хотя бы удалился гневный; как будто бы чувствовал себя пойманным в чем-то нехорошем. Читатель увидит после, что черта эта перешла отчасти к младшему сыну при однородных обстоятельствах воспитания. По себе судя, воспроизвожу душевное состояние родителя. С идеалами, которых не разделяют вокруг и даже никто не понимает, с познаниями, которыми не с кем поделиться и которым нет никакого практического исхода, при материалистически-коммерческом направлении кругом, что же оставалось делать? Погружаться снова в чтение и играть в умственные куклы, создавать другой мир, жить с ним и утешаться им. Возиться с пашней, распоряжаться рабочими, продавать хлеб... да куда же это было моему родителю, когда самой простою куплей, не говоря о продаже, он стеснялся? Мальчиком сопровождал я его иногда за покупками в «город»; отец никогда не торговался; единственный вопрос его в таких случаях бывал: «Нельзя ли подешевле?» И то произносилось несмело, как бы в опасении оскорбить торговца подозрением в запрашивании. Стоило купцу сказать: нет, это настоящая цена, – и батюшка велит отвечать или отмеривать. И любопытно: с особенною живостью рассказывал он анекдот об одном семинаристе, которому нужно было купить сапоги, а денег было всего полтина или менее – словом, менее того, сколько нужно за сапоги. Он приходит, спрашивает сапоги. Показывают. «Что стоит?» – «Два рубля». – «Нет ли похуже?» – спрашивает семинарист, не домекнув, что надо бы спросить: «Нет ли подешевле?» Ему дают другую пару. «Что стоит?» – «Полтора рубля». – «Нет ли похуже?» – спрашивает снова, и так далее, пока получает оборванные опорки, которые и надевает за свою полтину. Сдается мне, рассказывая о семинаристе, батюшка воспроизводил собственные чувства, испытываемые при покупках.

Практический ум заменяла отцу мать. Она и вела хозяйство, но потому хозяйство и не могло простираться далее избы и двора. В важных случаях хозяйственной практики вне двора выручал отца, без сомнения, свояк, Василий Михайлович, с которым наша семья жила по-родственному, несмотря на раздел, вызванный домашними несогласиями. Я не застал Василия Михайловича. Это был, по общему сказанию, замечательно живой и смысленный человек, что называется, в одно ухо влезет, а в другое вылезет. К числу особенностей его принадлежало, что он был, как выражались, «лунатик», из чего выходило много потешных историй. То выбежит днем с подушкой в село и расположится среди улицы, разумеется, сонный; то жена ранним зимним утром идет затопить печку, достает первоначально в печурке огниво и осязает неожиданно чьи-то ноги. Подымается крик. Оказывается, что стоит пред «челом» Василий Михайлович в трубе. Раз возвращаются он и отец к вечеру из Коломны. Дело было зимой, и ехали по Москве-реке. Как раз на повороте реки, у «луки», Василий Михайлович останавливает лошадь и говорит, что ему нужно выйти. Вышел. Немного погодя отец тронул лошадь и завернул за луку. Отец думал пошутить: «Сваяк посмотрит, что лошади нет,

подумает, что я уехал, побежит, а я сейчас тут же и стою». Случилось не так. Ждет отец, нет свояка; ждет еще, нет. Воротился назад, нет. «А, это он вздумал ответить шуткой, взошел на берег и пошел пешком в Черкизово; встретит уже со смехом: что это, батюшка, так запоздали? рассчитывая, что я его буду ждать и искать». Отец стегнул лошадь и приехал домой. Свояка нет. Вечер и ночь, свояка нет. На другой день гонцы по обеим дорогам, речной и береговой. Один из них видит Василия Михайловича, направляющегося на дорогу по сугробам из Семибратской рощи. Что ты, брат, как ты туда попал? Василий Михайлович рассказал следующее. Когда он обернулся назад и увидал, что лошади нет, он ускорил шаг. Долго ли он прошел, не помнит, но его нагнал знакомый мужик. Разговорились. Мужик позвал его чуть ли не к себе в избу. Пошел Василий Михайлович с ним, и мужик пропал. «Оглядываюсь, вижу, что сижу на высокой березе в лесу. Пришлось слезать и выходить на дорогу».

Смерть деда вызвала отца в Коломну. Место Матвея Федоровича было ему предоставлено, но с условием купить дом у сестер-вдов, живших на попечении деда, Марьи и Татьяны. Последние деньжонки, какие были, отчасти полученные за черкизовский дом, отчасти сохранившиеся от материнского приданого, отчасти скопленные матерью, пришлось отдать, и пришлось занять еще. На время предоставлено было наследницам деда проживать в том же доме в светелке; дело было летнее. Не на добро пошли деньги. У молодых вдов начался кутеж; откуда взялись приятели и приятельницы, пьянство, песни, гам, топотня! «А я сижу, – рассказывала мать моей старшей сестре, – слушаю да и плачу. Вот куда идут кровные деньги, вот как поминают родителя! А ведь несчастные к нам же опять придут промотавшись; куда же иначе денутся?» Предсказание матушки сбылось. Спустив наследство, прибегли к нам, и, к счастью, нашлась возможность устроить по крайней мере одну сестру, Марью. Ее старшему сынишке было уже лет четырнадцать, и он определен был причетником к Никитской же церкви; младшего отдали в монастырь. Здесь из послушников он дорос до иеродиакона.

Не знаю, предстанет ли мне случай вернуться к этим чадам Марьи Матвеевны. Расскажу их судьбу. Ивана Евсигнеевича (старшего) перевели скоро в другой, соседний, приход вследствие указа, запретившего служение близких родственников в одном причте. Много ли мало ли он там прослужил, но он был отрешен от места; должно быть, за пьянство, хотя я его не знал пьяницей. Как сквозь сон помню, рассказывали, что на следствии он отзывается «падучею болезнью». Отсюда подозреваю, не повалился ли он когда-нибудь пьяный с амвона при самом чтении Апостола. Помнится, как будто так и передавали. Подобный казус, конечно, должен был возбудить дело, хотя, может быть, и не повести к отрешению от места, при более милосердом взгляде начальства. Как бы то ни было, много попесталась с ним несчастная мать. Беды какие-то большие угрожали Ивану Евсигнеевичу, и тетка отправилась в Москву, где ежедневно путешествовала с Девичьего поля в город. Из рассказов ее узнал я, что есть в Москве «Боровицкие ворота», и старался их себе представить. От самого Ивана Евсигнеевича, возвратившегося целым и невредимым, узнал, что в Москве есть «яма» и есть «острог», где он сидел. Каким образом он мог попасть в «яму», назначенную для должников? Но в остроге он видел Николая Павловича, и государь давал ему вопросы.

Не лучше судьба постигла и младшего сына, Алексея, в монашестве Арсения: он был расстрижен, понятно, тоже за добрые дела. Оба брата промышляли чтением и пением в церквях, помогая причетникам, а главное – чтением Псалтырей по покойникам – занятие, в котором упражнялся дед Федор Андреевич и которое оставил он в наследство Вагатке (так называл он Ивана Евсигнеевича, когда тот был ребенком). Жена Ивана Евсигнеевича с двумя детьми бросила его и жила отдельно, прокармливаясь работой, а он принимал угол у нашего дьячка. Алексей Евсигнеевич пропадал по разным местам, изредка появляясь.

Иван Евсигнеевич был философ и художник. Редкое ремесло не было ему знакомо: он шил башмаки, делал клетки, собирал и разбираал часы; починка замков не обходилась без

него. Первоначальным учителем у него был дед Федор Андреевич. Иван Евсигнеевич рассуждал, что птицы говорят и звери говорят и что надо понимать их язык; что воробьи говорят отчасти даже по-нашему, один: «жив, жив, жив», другой отвечает: «чуть жив, чуть жив, чуть жив». Посмотрите на галок, ворон, как они переговариваются; молчат долго и вдруг все заговорят; сговариваются, куда лететь и что делать. Гуси, утки при отлете дожидаются товарищей на определенной станции и летят, когда придут ожидаемые. Скворцы осматривают квартиры сообща, приводят сначала знакомых посмотреть, хорош ли скворечник. Убивать животных по-настоящему грех; не знаем, кого уьем: может быть, душу человеческую загубим. От Ивана Евсигнеевича я узнал, что есть страна, с которой никогда не бывает и не будет войны; такое у нее положение, – Китай. Он же передавал, что русский царь каждый день тратит по миллиону на войско и что государь (Николай Павлович) родился в 1796 году и потому ему ровесник. Воспроизводил рассказы, слышанные от деда Федора Андреевича о солдатском житье-бытье и особенно о солдате Щипакине, который потешал всю роту в страшное время Павла и который не плоше дяди Василия Федоровича, разбивавшего стекла голосом, на пари сдувал четверик круп со стола и гасил двенадцать свеч, стоящих рядом, только не голосом. А более всего утешал меня Иван Евсигнеевич своими рассказами о покойниках. Я жался к нему содрогаясь, но просил рассказывать. Лет двенадцати был он, и пришлось ему читать по покойнику в церкви, притом ночью, чередуясь с пономарем; тело стояло в приделе, отделяющемся от коридора, за которым был другой придел «фарамугою» (стеной из стеклянных рам). «Читаю и слышу, будто кто-то по стеклам фарамуги прутиком ведет. Стало жутко; пойти к пономарю, спавшему на паперти, – надо пройти чрез эту самую фарамугу. Я подошел к алтарю, двигаясь задом от покойника и задом возвращаясь. Взял пук свеч и весь его зажег, чтобы было веселее. Звук продолжается; начинаю читать громче, чтобы заглушить его, а он меня заглушает. Уставился в книгу, но поднял случайно глаза и вижу – вдруг царские двери растворились. Упал и больше не помню; пономарь потом, когда пришел на смену, поднял меня». Рассказывал он мне, что здесь, в Никитской церкви, совершилось чудо, и с негодованием прибавлял: «Кабы не такой ваш дедушка был, то церковь бы прославилась. Икона Силуамской Божией Матери, знаете, стоит налево в холодной (я знал, что она есть, и киваю ему головой). Снилось слепой деревенской бабе, что она выздоровеет, когда пойдет к Никите Мученику и отслужит молебен Силуамской Божией Матери. Она знала, что есть Никита Мученик, но что есть там Силуамская Божия Мать, не слыхала.

Является к вашему дедушке. И тот путем не знал, что это Силуамская, но по объяснению старухи отслужил молебен. Старуха выздоровела и прозрела; каждый год потом являлась на богомолье». Я передавал о рассказе Евсигнеевича отцу и спрашивал подтверждения. «Да, что-то было такое», – отвечал он небрежно. Отец был отчасти рационалист, хотя самым строжайшим образом исполнял мельчайшие постановления церкви. Удивительное сочетание двух токов: одного, унаследованного от семьи, а другого – от лютеранского богословия (Мозгейма), по которому учился, и от книг, которые читал.

Несколькими заключительными чертами дополню духовный образ моего родителя. Когда случалось ему вести продолжительный разговор (для этого нужно было, чтоб он был несколько навеселе), он бывал остроумен, меток в суждениях, давал читанному, слышанному, лицам и поступкам дельную оценку. Прозвища, которые он давал, так и прирастали к человеку: назвал одного раз «сомовым рылом», иначе потом не звали его и другие. Другую окрестил «аршин проглотила», и говоря об этой гордой особе, прибавляли и другие ту же характеристики. Помимо наружности, клеймил он столь же метко душевные качества. Мысли свои способен был излагать толково и литературно. Таковы его письма к родным. Но во всю жизнь не решался написать проповеди, кроме той, которую поневоле должен был сочинить, когда был еще в семинарии студентом; очередные проповеди ему писали сыновья. Я знаю еще другой такой пример богатого внутреннего содержания, но которое не шло далее

изустной речи, и притом не от лени. Покойный Ф.А. Голубинский, профессор философии в Духовной академии – глубина и широта учености необъятные, импровизация блестящая; но заставить его написать что-нибудь было выше сил человеческих. Ректор Алексей (скончавшийся потом архиепископом Тверским) поступил с ним, как с английскими присяжными, запер на ключ. Написал взаперти профессор предисловие к письмам «О конечных причинах», но тем и кончил; труд, начало которого было уже напечатано, продолжен был другим. Что же это такое? Я не думаю равнять своего родителя со знаменитым профессором, но явление однородное. У Голубинского мы, слушатели и сослуживцы, объясняли этот недостаток подавляющею громадой знаний, с которою, как нам казалось, не совладевал ученый. Суждение, может быть имеющее долю основательности, но натянутое: излагал же Голубинский своим слушателям целую систему. Это недостаток не ума, а воли: где-то, что-то надломлено, какой-то проводник оборван, и даже не между мыслию и словом, а между словом и письмом; какое-то своего рода суеверие пред начертанным звуком. Я склоняюсь видеть причину этого явления в семинарском воспитании. «Сочинение» – это есть последняя, главная, можно сказать, даже единственная задача семинарского воспитания. Мерка для определения удовлетворительности сочинения в силу того преувеличенно возрастает у обязанных «сочинять», и они отступают, по застенчивости, как мой отец, и по смирению, как Ф.А. Голубинский.

## Глава VII

### Поп Захар и поп Родивон

Наступил 1811 год, преддверие грозного 1812 года. У Петра Матвеевича с Маврой Федоровной трое детей, два сына и одна дочь; было больше, но те померли. Старшему сыну, Александру, уже восемь лет; пора в училище. На месте разрушенной Коломенской семинарии, чтобы «не угасал свет учения», устроено училище неопределенной формации, ни то ни се, с двумя классами, «Высшим грамматическим» и «Низшим грамматическим», не соответствовавшим никакой ступени обычного семинарского курса с Инфимой, Фарой, Грамматикой, Синтаксией, Поэзией и так далее. Два попа учительствуют, третий, протоиерей, главным начальствует. «Поп Захар и поп Родивон»: поп Захар в Низшем грамматическом классе, поп Родивон в Высшем, оба не прошедшие полного курса семинарии, равно как и их начальник протоиерей. Ведут Александра Петровича, по фамилии пока еще Никитского, к попу Захару. «Что, Петр Матвеевич, пришел оболванивать парня?» – «Да, пора». – «Как же его записать, Никитским, что ли, как ты?» Дело происходило за рюмочкой; поп Захар счел нужным принять гостя. – «Не нравится мне моя фамилия, – отвечал Петр Матвеевич, – нужно какую-нибудь другую». – «Какую же? Давай посмотрим в Лебедевой». Обратились к Латинской грамматике Лебедева, очень хорошей по своему времени, к слову сказать, – более толковой, нежели Амвросия, по которой я учился. Но Амвросий был митрополитом ко времени преобразования училищ, чуть ли не получил докторскую степень за свою грамматику, и учебник Лебедева отставили.

Стали перелистывать: *Celer* – скорый, *Jucundus* – приятный, не то; *Honor, Honestus*... – «А, постой: что он у тебя, веселый мальчик?» – «Да ничего». – «Хочешь *Hilaris* – веселый? Гиляров, как тебе кажется?» Петр Матвеевич одобрил, и сын его, шедший из дома Никитским и просто поповичем, возвратился Александром Гиляровым, учеником Низшего грамматического класса.

Горе было, а не ученье. Учили, разумеется, одному латинскому и ничему более. Греческий и в семинариях, и в Академии (Славяно-греко-латинской) считался тогда роскошью; он и после, несмотря на все преобразования, не прижился в духовной школе. А наук каких-нибудь и в помине не было. И ученье не то шло, не то нет; в классы редко ходил поп Захар: то на крестинах, то на молебне, то просто выпивши. В первый же день задан был брату урок, безо всяких разговоров, первая страница Лебедева. Пришел малый домой, засел учить; не дается ему: твердил, твердил, никак не запомнит. Твердил он вслух, сидя на лежанке; матушка против него за прялкой на лавке. Мальчик плачет, и она готова плакать. «Да ты запомни, Саша, – говорит она, – Федьку Каратаева». В уроке, между прочим, было *foedus* – союз (как пример дwoегласного *oe*), и уже матушка запомнила это слово, а мальчику не дается. Федька Каратаев, сын соседнего купца, товарищ брату в играх, должен был, по основательному рассуждению матушки, напомнить о проклятом не дающемся слове.

Училище вскоре удостоено было архиерейского посещения. Приехал Августин. Классы разделялись только сенями. Двери настежь там и здесь. Входит тучная, низкорослая фигура Августина. После обычных церемоний садится на ученическую лавку, заставляет переводить. Ни в зуб толкнуть никто. Тем временем мальчик, около которого сел архиерей, стал играть архиерейскими орденами.

– Как тебя зовут? – спрашивает мальчика архиерей.

– Григорий Богослов (Богословский).

– А ты это что же, богослов, любы, что ли, тебе? – спрашивает преосвященный, показывая на орден.

– Да, – отвечает ученик, отняв руку и начав ковырять ею в носу, не переставая сидеть в то же время.

– А, так ты хочешь, чтоб у тебя такие были! Учись, и будут, только в носу не ковырай. А ну-ка скажи: *praelatus* как «начало» (то есть, как первое лицо глагола в настоящем времени).

Ученик молчит.

– *Praelatus* как начало? – провозглашает архиерей громко, своим обычным звонким тенором на весь класс.

Молчание.

– Ну, ты, учитель, *praelatus* как начало?

Поп Захар потряс головой и отвечал вполголоса:

– *Nescio* (не знаю).

– Что же это ты своею козлиною бородой трясешь? Я не слышу. Поп Захар повторил свой постыдный ответ.

– Ну, ты, толстопузый, *praelatus* как начало? – обратился архиерей к попу Родивону. Тот отвечает то же, что поп Захар, уже не трясая бородой.

– Ну, ты, отец, *praelatus* как начало?

Протоиерей Михаил Федорович дал ответ, которого ждал Августин. «Учи их, дураков», – примолвил архиерей, выходя из класса и указывая на двух попов, учителей Высшего и Низшего грамматического классов.

Протоиерей, оказавшийся знающим слово *praelatus*, был отец уже начинавшего восходить на высоту Филарета Дроздова; а из попов один, именно Родивон, был Иродион Степанович Сергиевский, зять Михаила Федоровича, женатый на его дочери, сестре Филарета, Ольге Михайловне.

Вскоре наступил Двенадцатый Год, и училище было распущено. Не буду отвлекать читателя рассказом о «Неприятельском Годе», как называли его у нас в Коломне, и продолжу о судьбе училища. Двенадцатый Год прошел, и тринадцатый прошел; ни то ни се продолжалось; совершался перелом «старого» образования на «новое». Новый устав вводился в Московский округ с 1814 года, и до того времени брат не то учился, не то болтался. С 1814 года началось регулярное учение, и к 1818 г. Александр Гиляров кончил курс, пройдя «Низшее» и «Высшее» отделения училища, с латинским и греческим языком, географией, катехизисом и Священною историей. Учение процветало? Правда, попа Захара уже не было, но поп Родивон, не умевший объяснить слова *praelatus*, оставался учителем Высшего отделения. О степени процветания может дать понятие следующий достоверный рассказ. В числе существеннейших занятий были так называемые «задачи», по-нынешнему *extemporalia*, состоявшие в переводе с русского на латинский. Иродион Степанович имел Тита Ливия, переводил его на русский язык, диктовал перевод ученикам, назначал латинские слова, которые должны быть употреблены, и ученики обязаны были восстанавливать текст писателя. Из ребят кто-то достал Тита – Ливия и поделился с товарищами. Дело пошло ходко, и притом, в известном смысле, честным порядком. Безошибочный перевод дозволялось представить только первому ученику, а прочие обязаны были делать ошибки или выражаясь технически, «класть ероры» (*errores*), по степени того как на самом деле кто учится и сколько силен в латыни. Было благовидно и шло благополучно; но попутала речь матери Кориолана, начинающаяся, как известно, словами *sine me, priusquam te amplexar*, то есть «позволь мне, прежде чем я тебя обниму». На грех учеников и учителя, *sine*, повелительное наклонение глагола *sino*, есть вместе и предлог без; *sine me* может быть переведено без меня. Не догадался Иродион Степанович и предположил предлог. Однако видит чепуху. Что он нагородил, неизвестно, но он понимал сам, что соврал, и потому был уверен, что ученики должны наврать непременно в том месте, где он с полным сознанием перевел неправильно, но лишь бы связать как-нибудь смысл с проклятым без меня. А в этом-то месте ни один из учеников и не дога-

дался «положить ерора». С отчаянием приходит Иродион Степанович и восклицает: «Вы все умнее меня! Я отказываюсь вас ценить; составьте конклав и выберите, кто из вас первый, кто второй; назначьте и подайте мне список». «Конклав» – это значило вот что: он же, Иродион Степанович, преподавал географию, то есть задавал из нее уроки и выслушивал их; без сомнения, и он сам впервые из нее узнал, что папа выбирается «конклавом». Слово ему понравилось.

Конклав собрался, список составлен, подан, сделана пересадка, и так продолжалось до конца курса: списки составлялись конклавом, и всегда самым добросовестным образом; не было ни жалоб, ни споров.

Остановлюсь на минуту. Против духовных училищ много писали и пишут, и в большей части основательно. Но сколько мне известно, ни один из писавших не потрудился подметить положительные качества, которые, однако, были в духовной школе, и чем далее пойдем мы в старину, тем их было более. Ни один из безусловных хулителей не отдал себе отчета даже в том, откуда в нем самый этот протест, это негодование. Ах, если бы знали они, есть сферы, где не возникает и протеста, где даже не зачинается самосознание! Придется мне, без сомнения, много говорить о духовной школе, и не я буду щадить ее: едва ли найдется много людей, кто бы столько вытерпел от нее, сколько я. Но я подниму затоптанные ее достоинства; я не скрою, чем ей обязан и чего бы не получил, кроме нее, нигде.

Возьмем этот случай, случай достоверный; деятелем был мой родной брат; его конклав и выбрал первым учеником, и продолжал выбирать. «Дико, нелепо, дурак учитель, какое же после того ученье?» Все так; но ребята учились и продолжали учиться под конклавом. Не во многом успели, не их была вина; но они не злоупотребляли доверием учителя, они поступали добросовестно. И вот что скажу: в духовных училищах, до моего по крайней мере времени, этот дух справедливой, беспристрастной оценки товарищей царствовал безусловно. И затем: лучшим, даровитейшим и старательнейшим ученикам оказывалось ото всех безусловное же уважение, и притом невзирая на происхождение. Пред аристократией ума и образования преклонялись без протеста; лентяй, сорванец, не говоря уже о малодаровитом, считал за счастье, если можно сказать так, погреться около солнца дарований и прилежания.

Это раз. Не упустите из внимания и другую черту. Иродион Степанович отдает составление списка на произвол учеников. Вы думаете, это – сумасбродство? На этот раз сумасбродство, но оно вытекло из более глубокой причины, из уважения к личности: за учениками признана их личность, признано их право. Припомним Малинина и учеников, просивших на него. Как поступлено было бы, не говорю в кадетском корпусе, но в гимназии и, вероятно, даже в теперешней семинарии? Это – бунт. Но архиерей не счел это бунтом, сам учитель не видел бунта, не думали бунтовать ученики. Во всей истории понятие бунта отсутствовало, и с вытаращенными глазами посмотрели бы ученики, и архиерей, и учитель на того, кто заговорил бы по поводу этого о субординации и ее нарушении. Как ни далек, по видимому, пример, но я укажу на английскую оппозицию, «оппозицию ее величества», как она себя величает. Как ни горячи прения, сколь ни ожесточенна борьба, но в общих принципах преданности государственному уставу, верноподданничества, служения величию отечества, сходятся правая и левая единогласно. На этой почве они и спорят. Ни одному из учеников, жаловавшихся на Малинина, ни на секунду не приходила мысль, чтоб архиерей мог одобрить поведение учителя за то одно, что он учитель; архиерей и равно учитель не допускали мысли, чтобы со стороны учеников было озорство. Всех одушевляла одинаковая идея, что в отношениях учителя к ученикам в семинарии вообще должна быть справедливость. Справедливость – своего рода конституция; на ней стоят одинаково обе стороны, и одна другую в этом подкрепляет. Придет время, мы встретим еще много случаев, странных с точки зрения формальной дисциплины. Но они странны только тогда, когда форме придается безусловное значение. Словом «отеческий» злоупотребляют; но представьте себе отношения,

по существу отеческие или даже полубратские, словом, семейные, и вы поймете, как могло случиться, что ректор помирился на персиках, после того как ученик отпустил на его счет остроу. Острота была сказана не с тем, чтобы посмеяться над ректором; сам ректор был в этом уверен и, конечно, первый же бранил себя, зачем он неосторожно раскрылся и отнесся братски к ученику, тем более уже назначенному во священника.

Пребывание брата в училище ознаменовалось еще другим высоким посещением, кроме Августина. Приезжал архимандрит Филарет, Петербургской академии ректор, назначенный обревизовать новооткрытый Московский округ. В глазах коломенцев стоял он на высоте тем более недостижимой, чем менее иерархическая степень его соответствовала его действительной силе. Всесильный архимандрит, со звездой на груди (тогда это была новость), прославленное чудо ума и учености. Выражаясь фельетонным языком, в свою очередь заимствованным из меню французских обедов, посещение Филаретом Коломенского училища представляло особенную пикантность в том, что здесь смотрителем был его отец, учителем – зять. Конечно, заранее можно было предсказать, что найдено будет все в отличном виде. Но Филарет вел себя при посещении с тонким достоинством: относясь к зятю как к обыкновенному учителю, он обратился к своему родителю со словом «батюшка» и пригласил его сесть. Не долгие были осмотр, не мудрены вопросы; но на один из них, очень простой, по-видимому, ученики затруднились ответить, и по вызову «кто скажет» ответил брат. Вопрос был о том, что такое «купина». Филарет дал брату еще несколько вопросов, спросил фамилию и занес ее в свою записную книжку. Брат был наверху торжества; ученики его поздравляли, и сам Иродион Степанович благодарил, что «выручил».

Столетний юбилей воскресил память Филарета; появились характеристики, воспоминания, поднята его жизнь, отношения к родным и сами родные его. Что касается родных и родителей, нельзя не сказать против некоторой преувеличенности в описаниях. Не для того, чтобы положить тень, а для того, чтобы восстановить истину с мясом и костями, по совести должен упомянуть, что родители приснопамятного владыки были люди со слабостями. Они не гнушались приносами кизлярской водки и сами не прочь были выкушать. Михаила Федоровича относили, случалось, на руках домой из лавок около Пятницких ворот. Так говорила Коломна. Авдотья Никитична, вдовья протопопица, когда жила в трех шагах от нас у сына своего Никиты Михайловича, была тоже как все уездные протопопицы старого времени. Но к чести ее надо сказать, что сиянье сына как бы озарило и ее. С переездом в Москву, под бок к высокопреосвященному сыну, чтимому всею Россией, она приподняла свой образ жизни, чтобы не ронять владыки (она была умная женщина). В Москве Авдотьи Никитичны и невестки ее Анны Ксенофонтовны не могли узнать те, которые зазнали их и бывали у них в Коломне.

За посещением Филарета, скоро ли, долго ли, последовала награда Михаилу Федоровичу необычайная: крест за заслуги или за дарования сына или что-то вроде этого. А Иродион Степанович вознесся, особенно по смерти тестя. Он был произведен на место его в протоиереи, в смотрители училища, в благочинные и удостоился ордена. В училище я едва-едва его не застал; но помню его, когда он раз, благочинным, приезжал в нашу церковь для осмотра и зашел к нам в дом. Увидев меня, спросил, учусь ли я. Я сидел на азбуке и помню, как теперь, что стоял на титлах и именно на словах «Милость, Милосерд». Заставив меня прочитать, Иродион Степанович погладил меня по голове, сказал тенором, переходящим в баритон: «Хорошо, братец», и я заметил его орден – красноватый крест на ярко-красной ленте с желтыми каемками. Эту диковину я в первый раз тогда видел и долгие годы потом не видал. Это было в 1828 году.

## Глава VIII

### Двенадцатый год

После всего писаного о Двенадцатом Годе многое ли могу добавить своими рассказами? Но я не хочу умолчать о простодушии моих земляков. Черкизово также бежало от нашествия; но куда? В лес, и что замечательно – всего за полверсты. Туда перешло все село с лошадьми, скотом, пожитками и расположилось табором. Скот выпускали на пастьбу, как обыкновенно, а ранним утром, перед светом, осторожно выходили из леса дозорные и с опушки смотрели на оставленные слободы: не шевелится ли кто-нибудь, нет ли неприятеля. Меня занимает психология этого происшествия; в общем оно повторялось повсюду, но, может быть, нигде с такою потерей здравого рассудка, как в Черкизове. Повторена была известная история страуса, прячущего голову, чтобы его не видели. Ту же историю отец мой рассказывал, как подлинное происшествие, о чьем-то теленке в Черкизове, проходившем зажмурясь чрез сени. Повторяя своего теленка, черкизовцы всем селом и на довольно долгое время (несколько недель) совершали то же, что бывает при пожарах и вообще неожиданной опасности. Но растерянность отдельных единиц на несколько минут объяснима; продолжительный же период отсутствия сообразительности у целого населения – задача психологическая.

Собрались убираться из Коломны. Зарево осветило северо-запад, и дошла ошеломляющая весть: «Москва горит, и там неприятель!» К Никите Мученику внезапно нахлынули гости на нескольких подводах. В Москве был у батюшки свояк Алексей Михайлович, дьячок от Иакова Апостола в Казенной, женатый на старшей дочери Федора Андреевича. Москва вся готовилась к бегству, и бежал всяк, кто мог. Иерей от Иакова Апостола в числе других подумывал, куда направить путь. Алексей Михайлович предложил своему «батюшке», не убраться ли им вместе в Коломну: «Я дума: туда, если не в самый город, то в село; там два свояка у меня». Одобрил иерей намерение. Снарядились. Случай привел яковлевского батюшку где-то видеть, во время самых сборов, еще священника, из другой стороны города, от Пятницы на Божедомке, близь Пречистенки. «Тоже собираюсь, – говорил Лука Милохоров (Божедомский), – только не знаю, куда: не возьмете ли с собой?» Таким образом целый караван нагрязнул на маленький двор у Никиты Мученика. И не совсем кстати. Наши тоже убирались. Шли хлопоты о спасении церковных драгоценностей: снимали оклады и ризы с больших икон, малые целиком укладывали в сундук: облачения, сосуды убирали, и все это поместили в подвал под церковь. Предание не дошло до меня: зарыты ли были сундуки, или поставлены в подвал на открышке, с повторением черкизовского теленка.

Когда объявлено было московским гостям, что и здесь им не предстоит оседлости, они отвечали: «Куда вы, туда и мы: мы от вас не отстанем, благо, нашли приют; вы все-таки здешние, а мы на чужой стороне, не знаем, как и что». Батюшка между тем заранее решил семейным советом переправиться в Княжи, погост за несколько десятков верст, стоящий в лесу, среди болота. Кажется, это уже в Рязанской губернии, за Окой. Там дьячком был родственник. Выбор был сравнительно удачный, насколько позволяли обстоятельства: неприятель в эту глушь не пойдет, тем более – и поживиться там нечем. Прибрав церковь, батюшка вручил ключи богобоязненному мещанину-прихожанину с наставлением беречь церковное добро и хранить тайну (дьячки тоже разбежались). В доме ничего не убирали, только привесили замок к сням.

Отправились в Княжи; прожили там сентябрь. Время проходило нескучно. Гости московские приехали и с запасами, и с деньгами; были и карты; преподаны были уроки в нескольких играх, которых коломенские не знали (да и карт у них вообще не водилось);

прогулки по лесу доставляли тоже своего рода отраду. Возврат последовал, когда от гонца, нарочно посланного в Коломну, получено известие, что «все спокойно».

Было не только все спокойно, но оказалось и все сохранно. Не дохваченный на дорогу кувшин с молоком, случайно оставшийся на крыльце, стоял в том же положении; только вместо молока в нем была уже сметана.

Пребывание московских гостей составило своего рода эпоху в домашнем быте Никитских. Столичные отцы держались некоторых обычаев, дотоле неведомых нашим. Одно из существенных отличий, поразивших тогда брата моего (уже восьмилетнего), был ежедневный чай. Распивание его было для наших чем-то вроде торжественного богослужения. Яковлевский иерей подзывал ребят, давал им по куску сахара, с наставлением, как его употреблять. Научил, что после второй чашки (больше детям-де не полагается) нужно накрыть чашку доньшком сверху; это-де означает «довольно». Затем должно «благодарить», то есть подойти и поцеловать руку. Наставления просветителей соблюдались коломенскими малютками свято и послужили кодексом правил на дальнейшее. Много и в одежде они увидели нового, невиданного; с почтительным удовольствием смотрели на карманные часы, о которых прежде не имели понятия, любовались на складное зеркало.

Я бы мог остановиться; но перенесу читателя за сто верст; познакомлю его с тем, что происходило в другом близком мне семействе, тоже церковническом, но в Москве. Рассказ мой будет основан на показаниях тестя моего Алексея Ивановича Богданова, который служил тогда дьяконом в Москве при церкви Симеона Столпника за Яузой. Целый рой воспоминаний поднимается, но я ограничусь тем, что тесно связано с описываемым периодом.

Алексей Иванович Богданов – коренной москвич; в Москве родился, в Москве учился; кончил курс в Славяно-греко-латинской академии. Это был уже совсем другой мир, далекий от первобытных нравов старой Коломенской семинарии. Учители не ходили в нагольных тулупах, как дед-протоиерей. Шелк и сукно появились здесь и на духовенстве. Из Академии хотя тоже отсылали в университет некоторых; зато и в нее для «усовершенствования» присылали кончивших семинарский курс из разных епархий. Это была действительно академия, с блестящими диспутами, с громкими проповедниками. Студентам не закрыт был доступ и в высшее общество, в качестве учителей конечно. У некоторых были фраки; были из них танцоры, были театралы, были болтавшие по-французски или по-немецки, хотя большинство и не намного вообще обгоняло коломенских тьюфяков. Алексей Иванович был из числа владевших французским языком, и вообще с лоском; его и на «благословение» с невестой взяли с бульвара, где он весело прогуливался, забыв об урочном часе. Взял он за себя воспитанницу епифанской помещицы. Были две барышни, две вечные девицы, с ними мать старушка. Период кукол прошел. Женихи не приискались или не нравились; материнские потребности, однако, говорили. По пути из «степной» деревни в Москву семейство старушки Козловой останавливалось по обычаю на передышку в «подмосковной». В подмосковной у дьякона родится дочь к этому времени. Дьякон барыне в ноги: «Не откажите крестить» (мог ли он упустить такой случай?). Барыня отпустила барышню; барышня согласилась, но сказала: «Только уж, отец дьякон, эта девочка – моя. Ты перестань и знать ее; забудь ее. Надя (названная так по имени крестной) – моя дочь». Дьякону оставалось благодарить за такое счастье и Бога молить за добрую барышню.

Таким-то путем из дьяконской избы попал ребенок в барские хоромы, где и воспитывался как бы родное дитя действительно; к нему приложено было любви по меньшей мере, сколько к любимой кукле. Но вышла катастрофа. У другой барышни-сестрицы тоже своя преемница, своя любимая кукла. Соперничество сестер, твоя или моя лучше, слезы, и в конце всего – решение сбыть Надю. Обратились в Москве, где был свой дом у Козловой, к приходскому протоиерею, чтобы нашел жениха из духовных, приличного. Алексей Иванович найден, представлен, понравился и невесте, и маменьке. Состоялся брак и поступление на

место во дьяконы. Для Алексея Ивановича был клад. До того времени он болты болтал; занимался по окончании курса корректурой в типографии Селивановского (единственной тогда частной), давал кое-где уроки. К духовному званию его не влекло: идеал его был светская жизнь, общество, гулянье, театр. Девушка из неприкосновенного духовного быта не могла ему понравиться. А здесь, как угодно, не просто поповна; да и манило обеспечение впереди от названной матери.

Обстоятельства, сейчас рассказанные, необходимы к пояснению последующего. Наступил наконец август; прогремела Бородинская битва; обозы раненых потянулись по Москве; уехал с Иверскою Августин, провожаемый чуть не проклятиями за оставление столицы. Возвзвания Ростопчина разжигают народ; разносятся слухи, что идут на помощь англичане; тем не менее население валит вон.

У Надежды Федоровны Козловой, названной тещи Алексея Ивановича, был родной брат сенатором. С приближением сентября Надежда Алексеевна (жена Алексея Ивановича) отправляется к нему узнать, в каком положении дела. Сенатор успокаивает ее, но на другой же день (это было в самых последних числах августа) присылает человека с советом или приказанием, чтобы Наденька собиралась немедленно ехать в деревню; оставаться в городе невозможно. Наскоро собралась, простилась с мужем Надежда Алексеевна (детей у них после четырехлетнего супружества еще не было). Карета с нею и с сенатором в сопровождении нескольких подвод выехала в Серпуховскую заставу по направлению в Тулу. Вся дорога вплоть до Каширы представляла как бы гулянье, точнее – крестный ход: пешеходы валят толпой, подводы в несколько рядов одна другую теснят, сталкиваются. Не один раз нагайке сенаторского лакея, или, может быть, курьера, приходилось работать. Но часто и сенаторский сан оказывался бессильным; особенное затруднение представлялось под самой Каширой, когда приходилось переезжать через Оку: не сотни, а тысячи подвод по нескольку дней стояли на берегу, дожидаясь возможности переправиться; берег был запружен, и добраться до него карете чрез ряды телег стоило немалого труда, увещаний, денег, побоев, обращения к сельским властям.

Оставим Надежду Алексеевну доезжать с сенатором до Епифанского уезда и возвратимся к Алексею Ивановичу. Он остался и не мог не остаться. 1 сентября Симеон Столпник, храмовый праздник, обязательная служба. Положим, и прихожанам было не до того, приход опустел. Сам по себе и бросил бы Алексей Иванович Москву, последовав за женой, но не допустит богобоязненный священник Николай Федорович. Николай Федорович умрет на пороге храма, а исполнит священнослужительский долг, хотя бы тысячи неприятельских штыков грозили ему. Это был тот неустрашимой веры иерей, который из всех двух сот в Москве один выискался совершить нечто, для слабых духом невозможное. Кто-то из священников изрыгнул Св. Дары тотчас после принятия почти в момент причастия. К архиерею с докладом. Архиерей кладет резолюцию: на совершившего епитимия и затем, если его блазнит обратно принять изверженное и если не найдет другого, кто бы согласился, – сжечь Дары. Заместитель выискался: Николай Федорович, осенив себя крестом, потребил предложенное, не блазнясь и не сомнясь. Таково было в духовенстве предание о Николае Федоровиче.

Итак, праздник неизбежно было справить. Всенощная, обедня с подобающим священным торжеством, праздничный звон, водосвятие, хотя и в пустой церкви. К вечеру 1 сентября Алексей Иванович был свободен. По обычаю пошли со крестом по приходу; но из прихода выехали все. Один принял посещение – староста Верещагин.

При имени «Верещагин» читатель вспоминает историю о растерзанном Верещагине в 1812 году. К нему-то я и веду речь. Староста Симеона Столпника был отец растерзанного Верещагина, и сам растерзанный Верещагин – приятель Алексея Ивановича Богданова. Эту темную историю я расскажу в том виде, как принял от тестя.

В числе тогдашнего образованного общества были сочувствовавшие Наполеону, и молодежь преимущественно. Сличая с настоящим временем, приравниваю тогдашних поклонников Наполеона к теперешним либералам-космополитам. То были тоже либералы и тоже космополиты. Наполеон – не только великий человек, но чадо революции, наследник великих идей свободы и восстановления человеческих прав. Грубая, невежественная, рабская Россия получит свет и свободу от всемирного гения. В числе воодушевленных такими чувствами был молодой Верещагин, связанный, между прочим, дружбой с сыном почт-директора (Ключарева): а это был рьяный поклонник наполеоновской миссии. Ключарев-отец, а чрез него и сын, получали свободно иностранные издания. Какая-то статья ли, прокламация ли (тесть называл прокламацией) была переведена Ключаревым, передана Верещагину; Верещагин ее распространял. Был ли то листок печатный или письменный, я не дознал от тестя. Но в одно утро Верещагин вошел к Алексею Ивановичу с листком и сказал: «На-ка, прочитай»; сам тут же ушел. Едва Верещагин за порог, как явился квартальный.

– Что такое? Как вы пожаловали?

– Да что, вот служба, не приведи Бог! Листки тут разносят и разбрасывают, прокламации от Бонапарта; велено отбирать. Вожусь с этим целое утро. Дайте у вас передохнуть; да, кстати, нет ли закусить?

Квартальный был тоже приятель. Поставлен графинчик. «Тары да бары, а я сижу ни жив, ни мертв, – рассказывал Алексей Иванович. – Листок-то тут же, на подзеркальнике. Только оглянись туда гость, пропал я!»

Однако гость ушел, не обратив внимания на подзеркальник. Верещагина взяли. Ростопчин знал, как происходило дело, рассказывал Алексей Иванович, и он добивался, чтобы Верещагин выдал Ключарева. Тот был непреклонен, несмотря на такую явную улику, что сам не знал же иностранных языков. Ростопчин вызвал отца; отец на коленях умолял сына пощадить его и пощадить себя, сказать правду. Молодой Верещагин не сдался. В последний раз, пред самым выездом из Москвы, призвал его Ростопчин и наконец объявил, что упорство будет стоить безумцу жизни. Верещагин остался нем. Тогда-то Ростопчин выбросил его народу со словами: «Вот изменник!»

Не один и не два раза передавал мне Алексей Иванович свои приключения Двенадцатого Года, и всегда в том же стереотипном виде эпизод о Верещагине. При этом никогда не выражал он ни тени негодования на Ростопчина, ни участия к сыну-Верещагину, которого считал сбившимся малым, погибшим от собственного безрассудства.

Настало 2-е сентября. После обеда показались нерусские мундиры на улицах. «Англичане на помощь пришли!» – объявил Алексею Ивановичу кто-то, церковный ли сторож, или сосед. Вышел Алексей Иванович на улицу, спустился под горку и видит синие мундиры; расставляются пикеты. Настолько он был сведущ, что знал национальные цвета. Он понял. В тот ли самый вечер, на другой ли день, солдаты на улице с восклицанием «un juif» (жид) подошли к нему и потребовали сапоги. Он отдал беспрекословно. По бороде, по кудрившимся волосам и по подряснику его приняли за еврея. С другими сапогами, в которых рискнул мнимый еврей выйти снова на улицу, повторилось то же; то же с третьими, старыми, и он остался в кухаркиных опорках. На ночь явился постой: два итальянских офицера. По соседству, в доме Баташева, Шепелева тож (теперь Чернорабочая больница), стоял какой-то маршал.

Постояльцы-офицеры спали со своим хозяином на двуспальной супружеской кровати, положив его между себя. Он не спал всю ночь, но при каждом его движении постояльцы поднимались и хватались за сабли.

Владея французским языком, Алексей Иванович разговорился потом с гостями. Они признавались ему, что поход им не по сердцу и дерутся они не по своей воле. Пока оставались в доме Алексея Ивановича, они защищали его добро, гоняли солдат, являвшихся поживиться.

Но с отлучкой их начался грабеж, кончившийся тем, что вытащено все, что могло быть унесено. Тем временем вспыхнул пожар, разлилось огненное море; кухарка ушла и пропала; стало нечего есть: нужно было думать о спасении. К тому же Верещагину-отцу отправился Алексей Иванович: староста был единственная знакомая душа в округности, оставшийся частью по своим церковным обязанностям, а главное по милости сына. Выходить за свой околоток поискать других знакомых или родных было страшно: убьют (отнять уже нечего было), не то сгоришь; в самом милостивом случае обратят в возовую лошадь, заставят нести тяжести. Верещагин предложил Алексею Ивановичу отправиться вместе с ним на его завод. Оставалось только благодарить, и они вышли пешком в Рогожскую или Проломную заставу; Алексей Иванович – в старом худом подряснике и в кухаркиных опорках.

## Глава IX

### Домашняя школа

Я был младшим в семье, «поскребышем», как называл меня отец с улыбкой прихожанам, «Давид Иессеев», как шутил со мною Иван Евсигнеевич: старший брат обогнал меня на двадцать один год и ко времени рождения моего уже оканчивал курс; ближайшая по возрасту сестра была старше меня тремя годами.

Первое воспоминание мое имеет некоторое отношение к книгам и к школе. Летний день, в светелке, рядом с топлюшкой, окна открыты; за столом сидит несколько ребят; перед ними книги. Ближе к окну висит люлька, и в ней я сижу. Очень живо представляю себе эту люльку и набойку с заплатами, на нее натянутую, веревочки, привязанные к тому же, должно быть, крюку, на котором висит люлька. Я сижу, держу в руках веревочку, раскачиваюсь и распеваю «ла» «ла» «ла», изображая звон и воображая в себе звонаря. Когда это было? Неужели я еще спал к тому времени в люльке? Только мне не было еще четырех лет во всяком случае.

Ребята с книгами, это – школа, домашняя школа. Мать была «мастерица», бравшая детей на выучку грамоте и передавшая это ремесло сестрам, которые одна за другой наследовали звание «мастериц». Приходское и уездное училища были в городе, но горожане отдавали туда детей неохотно. Кроме нашего дома, были школы и у других из духовенства. Славилась особенно школа Николая Матвеевича, дьячка от «Николы в городе». Я видал эту школу, когда у Николая Матвеевича квартировал мой брат, учитель, с которым мы скоро познакомимся. То была настоящая школа, с партами в несколько рядов; ученики считались десятками, и Николай Матвеевич выучкой составил себе состояние; он слыл богатым дьячком. Учительский гонорар послужил и для моих сестер главным фондом, из которого составились их приданые.

Курс состоял из чтения и письма, не далее. Учились по славянской, синодской азбуке; за нею следовал Псалтырь, у некоторых еще Часослов (пред Псалтырем, непосредственно после азбуки); затем письмо. За выучку положенная цена: пять рублей за азбуку, десять за Псалтырь, десять за письмо; за Часослов прибавлялось пять рублей, – всё на тогдашние ассигнации. Способ учения был первобытный. Давалась указка в руки; ученик или ученица крестился, «мастерица» начинала: «аз, буки, веди, глаголь, добро». Это повторялось несколько раз. Дни, недели, месяцы проходили, пока доползет дитя только до ижицы, то есть кончит алфавит. Затем «склады» и «титла», потом знаки препинания: «оксиа, исо, вария, кавыка, звательцо, титло» и пр. Объяснения никакого. Смысл читаемого едва ли понятен был самим мастерам и мастерицам, по крайней мере в упомянутом перечислении знаков препинания. Спросить, что такое «исо» или «вария» и зачем это учат, – никто бы не ответил. Даже изучение складов совершалось механизмом самым неосмысленным. Читали, и сама мастерица или мастер начинали так: «буки-аз-ба – ба», «веди-арцы-аз-ра – вра». Словом, вся процедура перечисления букв до окончательных вра или ба (последнее притом еще повторялось) производилась задаром. В учащемся, при произношении этой тарабарщины, не проходило соображения, что это, мол, отдельные буквы и если-де их приставить одну к другой, то выйдет вот что. Последствие было бы то же, может быть учащемуся было бы даже легче, когда бы заставляли его просто читать: «ба» или «вра». Смысл складов доходил бы до сознания другим путем, а не тем, которым доводили. Живо это помню по себе. Я читал, помню, так (и все так читали): «буки, Бог, Божество»; это значило, что титла расположены были в азбучном порядке и начинались «Б. Бог, Божество». Б. было заглавием строчек, в которых слова с титлами начинались этою буквой: и это заглавное название буквы все-таки заучивалось. Но так повелевалось преданием.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.